

В. ПАНКОВ

*Игу
Мещерой*

Панков В. А.

Иду Мещерой: Документальные очерки.– Рязань: Моск. рабочий, Рязан. отделение, 1984.–192 с.

Эта книга посвящена замечательному уголку русской земли – Мещёре. Вместе с автором читатель совершит увлекательные путешествия в ее прошлое и настоящее, познакомится с нравами и обычаями мещеряков, их ремеслами и промыслами. Документальные очерки рассказывают об интересных людях – ученых, работающих в Окском государственном заповеднике, лесничих, плотниках, бондарях, печниках... Есть в книге размышления о будущем Мещерского края, его неповторимой природы, о судьбе стародавних ремесел.

Часть очерков была опубликована в газете «Советская Россия».

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

1905040000–128 _ ББК 20.1

М172(03)–84 57(069)

Издательство «Московский рабочий», 1984 г.

Мещерский странник

Предисловия чаще всего не читают. И все же хочется на пороге у этой книжки сказать о ней доброе слово.

Вы прочтете душевный, теплый, пестрый и яркий, как лоскутное материнское одеяло, рассказ краеведа о дорогом для нас уголке срединной России под названьем Мещёра (местные жители называют свой край с ударением на «а» – Мещера). И в этом слове сердце наше слышит поэзию – «грибная бабушкина глушь!» Край и в самом деле поэтичен необычайно. Талант Есенина гляделся в воды мещерских озер и речек. Умевший тонко ценить красоту Паустовский считал Мещеру лучшим на земле местом – «эту затерянность я ощущал как счастье». И ведь не так уж далека эта затерянность – «всего-то двести верст от Москвы!»

В наше автомобильное время что такое две сотни верст! И все же Мещеру не так-то просто заездить и затоптать. На страже ее стоят невиданной шири окские половодья, а позже речки, ручьи, болота, мшары во многих местах кладут предел «Жигулям». Мещера хранит по-прежнему все, что пленило тут Паустовского. И далеко не каждому открывает она потайные свои места.

Тем интересней прочесть нам рассказ о Мещере не заезжего ходока, а коренного мещеряка, человека, для которого здешние воды, болотное чернолесье, «кафедральные» сосняки и все живое в этом своеобразном мире знакомо с детства и принадлежность к этому краю, повторим слова¹ Паустовского, он ощущает как счастье.

Книжка рязанца Владимира Панкова – краеведение. Не туристское описание увиденного, скажем, за лето, а углубленная разведка (ведение) всего, что было, что есть, что можно еще открыть на Мещере. Заметить надо, Рязань имеет хорошие традиции краеведения, в основе которых лежит природное и этнографическое богатство все той же Мещеры. В 20-х годах подвижники-краеведы, видя неминуемое разрушение векового уклада жизни в лесах, исходили Мещеру вдоль и поперек, собирая приметы природы, хозяйства, быта, языка, народных поверий. Краеведы называли Мещеру этнографическим раем – так много яркого, самобытного, древнего сохранил этот край, где жизнь человека тесно сплеталась с жизнью природы.

Труды краеведов публиковались. Но сегодня они достояние лишь музейной библиотеки в Рязани, а многое осталось только в записях, многое вовсе утратилось. Жизнь между тем претерпела большую ломку. Быт человека повсюду, в том числе на Мещере, изменился коренным образом. Там, где полвека назад стояла прялка, сегодня стоит телевизор, где стояли капканы охотников и синел дымок смолокуров, сегодня грохочут машины. Нынешний житель Мещеры говорит иначе, чем говорил его дед. Иначе он одевается, другие песни поет. Но осмыслить, понять настоящее мы можем, лишь обращаясь в прошлое: как было, что и как изменилось? что осталось лишь зарастающим мхом пенечком, а где прошлое, сочетаясь с нынешней жизнью, зеленеет здоровой веткой? Ответы на эти вопросы получить можно, лишь сочетая современное краеведение с интересом ко всему, что добыто любознательными ходоками полвека назад. Для этого нужен человек, имеющий вкус копаться в пожелтевших бумагах и готовый с рюкзаком за плечами идти по дорогам и тропам родного края. Редактор молодежной газеты в Рязани Владимир Панков оба эти качества соединяет в себе наилучшим образом. Он прилежный ходок по проселкам, внимательный наблюдатель, вдумчивый собеседник. Он же сиделец в библиотеках, в архивах, в музейных запасниках. Он краевед. И вот результат его наблюдений, исследований,

размышлений – первая книга.

Читая ее, вы узнаете много любопытного об истории Мещеры, о том, как она заселялась, осваивалась, как смешивались тут племена и народы. Вы поймете, что значила природа в жизни мещеряка-язычника и сколь велико значение ее в духовной жизни современного человека.

Еще недавно на Мещере было много обычаев, присущих лишь этому краю. Ну, например, при замужестве в приданое входила лодка, а там, где сеяли хлеб, оговаривалось специально, сколько возов навоза будет дано за невестой. Своеобразие природы рождало эти обычаи, а также великое множество разных ремесел, в недавнем прошлом кормивших Мещеру. Плотники, углежогы, бондари, корзинщики, лодочники, гончары, рогожники, коновалы, сундучники, корытники, лапотники, прялочники, дегтярники, ложкари... Не перечислить всего, чем заставляли заняться людей скудные земли Мещеры и богатства ее лесов.

В книжке вы найдете много любопытного об этих славных на всю Россию ремеслах. Но автору мало выведать по бумагам и разговорам, что и как было. Неумолимо он ищет: а что осталось, что продольсает жить? И мы видим его беседующим с плотником, бондарем, колодезником, гончаром, мельником, лесником. Собеседники краеведа Панкова почти всегда люди преклонного возраста. Их руки и память хранят уменье, перенятое у отцов и дедов. И не одно лишь любопытство заставляет нас внимательно отнестись к этим людям. Жизнь изменилась. Но и при телевизоре на Мещере не проживешь без печи, колодца, без уменья поставить бревенчатый дом, без бережливого отношения к лесу-кормильцу...

Сказать коротко, эта книга о мещерской природе и о житье-бытье человека в единстве с природой. Заметное место в книге занимает и личность рассказчика, его жизненный опыт, его взгляд на окружающий мир, его страсть путешествовать, узнавать, его отношение к людям.

Владимира Панкова я знаю несколько лет. Вместе мы не раз кормили мещерских комаров и мерили здешний снег. При каждой встрече мой друг выкладывал новые наблюдения, впечатления. Я «подзудел» его сестра за книгу. И с радостью вижу: она получилась. Владимир Панков умеет не только смотреть, но и видеть. С людьми он добр и общителен. И земляки платят ему такой же приятностью. Немаловажно, наш краевед – не просто собиратель и созерцатель всего любопытного. Он умеет и рассказать обо всем увлекательно, образно, с юмором, хорошим, неиспорченным языком. И главное, преданно любит свой край. Его глазами мы и увидим Мещеру.

Василий ПЕСКОВ, лауреат Ленинской премии

*Мне мало надо! Краюшку хлеба и каплю молока. Да это небо, да эти облака!
Вели мир Хлебников*

Нет ничего на свете замысловатей и неожиданней мещерских дорог. Торили их в непроходимых лесах, вдоль вертлявых речушек, огибая топкие берега озер, гиблые мшары, соединяя большие села с деревеньками в два двора.

Сухие, песчаные, они вдруг ныряют в не просыхающие все лето блюдца-промоины изрядной глубины или бросаются в такую чашу, где темно и днем.

Дороги эти – как реки. Неисчислимы их излучины и притоки. Легко здесь сбиться с пути, принять за реку ручеек, поддаться соблазну свернуть в сторону

там, где нужно идти прямо. И чем неожиданней появляется распустье, тем больше желание испытать его. Идешь, ускоряя шаг в надежде на скорый привал, а клубок дороги все разматывается и не видно ему конца. Пускаешься в обратный путь. В старину говорили: бес водит... Но не идут впрок такие уроки: при случае вам снова захочется перехитрить проселок. Это как азартная игра, подогретая вечно живущей в нас верой в зигзаг удачи...

Помню, как однажды мы с приятелем четыре часа ходили по маленькому пятаку леса, разыскивая Глухое озеро. Принятая за основную дорога, набитая лесовозами, потащила нас в чащу, обещая скорый конец пути, но, изрядно попетляв, вдруг уперлась в столетнюю сосну.

Пришлось возвращаться, опробовать другую дорогу, точнее тропинку, которая, как мы потом поняли, лишь обогнула озеро и сгнула в болоте.

Мы точно знали, что озеро должно быть где-то рядом. Сначала это обнадеживало, но после долгого кружения по лесу мы всерьез стали подумывать о «блуждающих» озерах, пока Глухое не блеснуло вдруг за корявыми стволами чахлах болотных берез, показав верный путь к своим топким, безлюдным берегам...

В Мещере вас не выручат никакие подробные карты. Накатанный большак может обернуться тупиком. Такие дороги часто устраивают заготовители для вывоза леса с дальних делянок. Еле заметная тропинка, наоборот, может оказаться верным проводником, если

только у вас хватит смелости и дорожной мудрости до конца довериться ей.

Как только не приходилось путешествовать по Мещере! По шумным автострадам проезжал я на автомобиле, в распутицу залезал в кабину трактора, кружил над лесами на вертолете. Не раз выручали и запряженная в телегу лошадь, и широкие охотничьи лыжи. Помню, когда надо было добраться до затерянной в глуши деревни Норино, а дороги перемело невиданным снегом, пришлось занять даже колхозную пожарную машину.

Но не было ничего лучше пешего путешествия, ведь истина проселка требует неторопливого исследования...

Что может быть путаней мещерских дорог и что может быть их интересней!

Они поведают вам о прошлом и выведут к настоящему. Как «опытная» цыганка по линиям руки, так вы по запутанным линиям дорог смело можете попытаться угадать и будущее этой удивительной земли.

Путешествуя, вы увидите тихую красоту Мещерской стороны: озера с голубой, белой и черной водой, плывущие в утренней дымке стога, одинокие журавлиные стаи, следы лося на первом ноябрьском снегу, стоящие весной по пояс в воде избы, лесные кордоны среди топких болот, вековые боры и не замерзающие даже в стужу ключи...

Дорога, конечно, познакомит вас и с людьми, живущими в этом лесном краю: плотниками, лесниками, землепашцами, бондарями, мелиораторами и многими другими, имя которым – мещеряки.

Но чтобы увидеть все это, нужен хороший попутчик...

Года три назад я встретил его у небольшого поселка Криуша, где он трапезничал, разложив в придорожной канавке отбеленную холстину. Он пригласил меня к своей скатерти-самобранке, и мы отведали чудесной картошки-рассыпухи, которой снабдили моего нового знакомого местные лесозаготовители. Криуша славится хлебосольством, недаром, по преданию, начиналась с постоялого двора.

Кузьма Матвеевич оказался счастливо странствующим стариком. По его словам, он объявляется в родной деревне только в предзимье, когда на

мокрую землю ложится первый снежок. Возвращается обычно ночью, незаметно для соседских глаз. Только утром тонкий дымок над заброшенным домом оповещает деревню о том, что блудный сын наконец вернулся.

Я узнал, что причина для тайного возвращения была. Село никогда не поощряло необоснованной праздности, даже в старости. Кузьма Матвеевич не был ни больным, ни тихо доживающим свой век пенсионером-домоседом. Он был странником.

Весной, лишь только подсыхала земля, он пускался в путь по мещерским проселкам, чтобы к зиме успеть навестить знакомые озера, леса и кордоны. Каждый раз Кузьма Матвеевич был уверен, что путешествие это в его жизни последнее. Он торопился поклониться всем своим святым местам, а их у него было немало.

Кузьма Матвеевич не брал в дорогу ничего лишнего, умещал весь гардероб в полинявшем, довоенном еще рюкзаке. Он знал, что в остальном вполне может положиться на гостеприимство и снисхождение к страннику. Так он и ходит: от деревни к деревне, от озера к лесу, от реки к ручью, от человека к человеку...

Бородатый, в стареньких кедах, подмотанных изолентой, Кузьма Матвеевич не был похож на беспечного туриста. Он не искал новых впечатлений: мещерские проселки давали ему повод для неторопливых размышлений.

Он не был ни бездельником, ни попрошайкой, добывающим легкий, но унижительный хлеб. В свое время честно отработал в лесхозе. У него дома над железной койкой и сейчас висит похвальный лист за ударный труд на лесозаготовках. Есть у деда Кузьмы и доброе имя, и пенсия, которой на жизнь хватает.

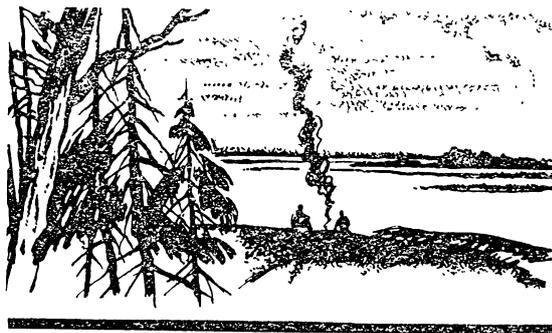
Видно, к старости проснулась в нем жившая с детства страсть к путешествиям, которой не давала выхода то горькая нужда, то война, то семейные заботы, то оседлая, ставшая сладко есть и крепко спать родная его деревенька.

Когда был честно закрыт трудовой стаж, Кузьма Матвеевич, как говорили в округе, «ушел в бега». И хотя односельчане вслух не одобряли его долгих странствий, их тянуло к дому деда Кузьмы, где у жарко натопленной печи коротались долгие зимние вечера рассказами о людях, реках и облаках.

В тот памятный полдень, в первую нашу встречу, я стал набиваться Кузьме Матвеевичу в попутчики, надеясь хоть на время приобщиться к его путешествиям по мещерской глухомани. Он долго медлил с ответом, старательно шнуруя кеды и испытующе поглядывая на меня, потом закинул за плечи рюкзак, поклонился гостеприимной Криуше и тихо обронил:

– Ну что ж, пойдем потихоньку. Постранствуем... Не раз после этого, как только позволяли дела, я составлял компанию деду Кузьме. Встречался с ним и зимой. О многом успел мне поведать мой добрый знакомый, мещерский странник...

Путешествие 1-е



В одной из библиотек мне попались на глаза «Судебники XV–XVI веков». Среди прочего любопытного обнаружил в нем «Указ о езде», в котором оговаривалась «такса» за проезд: «А езду от Москвы до Коломны – полтина... до Двины и Колмогор 8 рублей... до Мещеры два рубля». Два рубля – сумма по тем временам нешуточная, но и непреувеличенная. Непроезжие в распутицу дороги отбрасывали Мещерский край далеко от столицы.

Зато теперь московский рейсовый автобус за какой-нибудь час доставит вас к границе, перейдя которую вы окажетесь в Мещере – зеленом государстве площадью 23 тысячи квадратных километров. Ока, Москва, Судогда – эти три реки запирают Мещеру в гигантский треугольник, заполненный главным образом озерами и лесами. Да еще, пожалуй, многочисленными осколками полей и редкими островками селений.

Когда-то здесь было море. Миллионы лет назад оно отступило, а на его место пришел могучий ледник, оставивший после себя песок и валуны, захваченные из Скандинавии. Ледниковое нашествие словно утюгом выгладило Мещеру, придав рельефу спокойный и ровный характер. После этого сюда устремились леса. И даже когда человек начал теснить их на равнине, заменяя пашней, в Мещерской стороне они не сдались.

В одном географическом издании о Мещере сказано, что это «однообразная низменная равнина». Трудно спорить с такого рода определениями, но замечу, что однообразие рельефа не породило монотонности в

природе этого края. Весной, в половодье, Мещера будто вспоминает о родившем ее море и широко разливается своими реками и речушками, затопляя села и деревни. Величественные боры сменяются гиблыми болотами-мшарами. Озера с прозрачной, как слеза, водой – черными от торфа реками.

Неповторима природа Мещеры. Именно это своеобразие во многом определило историческую судьбу края, судьбу, достойную любознательного внимания. Ясно, что нельзя пускаться в путь по этому зеленому государству, не зная о его прошлом. Кто станет спорить, что прошлое – надежный компас и в настоящем...

Легенда

Утро в Мещеру приходит на цыпочках. Еще ночь, и темнота так густа, что луч карманного фонаря режет ее, как нож замерзшее масло, а ты уже ждешь: вот сейчас кто-то повернет невидимый выключатель – и загорится раннее лесное утро.

Но ничего заметного не происходит, а через минуту ты вдруг ясно видишь

очертания ближних сосен, редкий туман над песчаными косами и тут же понимаешь, что ежедневное таинство уже свершилось...

Мы встали рано и, когда просветлел лес, пошли к реке: надо было умыться и набрать воды. Пра будто поседела за ночь, и полузатопленный челн, уткнувшийся носом в песчаный берег, корму свою терял в холодном утреннем тумане. В прошлом году челн еще ходил по реке, направляемый слабеющей рукой знакомого нам рыбака. Мы задешево покупали у него толстых линей для ухи.

Говорят, что вещи долговечней человека. Но вот умер знакомый наш рыбак, и захлебнулся на мелководье его старый челн...

В лесу да еще у реки слышен любой малый звук. Едва разбежавшись, он ударяется о зеленую стену сосен и тут же отскакивает назад, а потом мечется по берегам, постепенно изнемогая, теряя силы. В то утро мы услышали, как в лесу вдруг заговорили колокольцы.

Мещера не степь. В лесах на болотах немудрено потерять не только козу, но и лошадь. Поэтому здесь совсем не редкость постукивающий на шее у коровы или лошади самодельный латунный колоколец. Язык для него мастерится из какой-нибудь бросовой железки. Такой колоколец не звенит, а глухо бормочет. В поле этот звук легко унесет ветром, но в лесу его слышно достаточно далеко.

К реке на водопой шли кони. Они осторожно ступали по мокрой траве, но колокольцы проявляли каждое их движение. Самый громкий колоколец висел на шее гнедой кобылы – большой, с подпалинами на боках. Ее глаза были похожи на две большие переспелые сливы. Она часто останавливалась и скусывала под самый корень голубую болотную траву, а потом устало ее жевала.

Рядом с ней мы увидели рыжего жеребенка, которому от роду было недели две. Он толкался в отвислый материнский живот и перебирал от нетерпения спичечными ножками. Иногда убегал в густую приречную кугу, ненадолго исчезал, пользуясь до поры до времени тем, что не было у него выдающего каждый шаг колокольца.

Но вот кони подошли к речной заводи и, раздвигая мордами кувшинки, принялись тихо пить непрогрешую еще воду.

Стал исчезать туман, капли росы на листьях белокопытника делались все мельче, а час спустя пропали вовсе... Над Прой прошумел подогретый солнцем ветерок, артельно застучали дятлы, замычали коровы в соседнем селе – день начал набирать силу. Поэтому сразу после завтрака мы отправились в путь.

Наша дорога лежала вдоль Пры, подчиняясь ее непостоянному руслу. Это была открытая, луговая часть реки. Лес вытянулся у близкого здесь горизонта. Там уже угадывались в беспорядке расставленные кубики изб. Только что сметанные стога с торчавшими из вершин шестами походили издали на ели и прямо связывались с продолжением леса.

Срезанная косарями мята подсыхала на солнце, разнося по лугу пронзительный аромат, перебивавший даже свежий и сильный запах реки.

Песок успел уже нагреться, и босые ноги чувствовали исходивший от него сыпучий жар. Сначала он заставлял нас идти все быстрее, а позже загнал в прохладную воду Пры. Мы студили на отмели уставшие ноги и смотрели на высокий противоположный берег, который облюбовали ласточки-береговушки.

Кто хоть однажды бывал на Пре, знает: изменчиво не только ее русло, но и берега. И каждый поворот реки – это как смена декораций в театре.

Правый – высокий и темный от глины – берег вдруг резко уходит вниз и превращается в желтую песчаную косу, открывая то цветущий луг, то подошедший к воде лес. Еще поворот – и лес уступает место крутому, в несколько метров, обрыву, золотой от песка подковой охватывающему отрезок реки. Таких, на счастье брошенных, подков на Пре не один десяток.

Вверх-вниз. Вниз-вверх...

Совсем не однообразно такое чередование. Музыка – это ведь тоже чередование звуков. Но оно рождает великие симфонии.

Музыка Пры – в ее берегах...

Ласточки выскальзывали из гнезд, а потом падали, почти касаясь воды, набирали силы для полета и уходили в высоту, разгоня жаркий дневной воздух. Без усталости возвращались и вновь исчезали за обрывом. Круглые гнезда-норки устроены были в несколько рядов и издали походили на иллюминаторы океанского лайнера.

Когда ноги остыли в речной воде, мы отправились дальше, торопясь к жаркому полудню войти в лес, который был уже рядом и с каждым нашим шагом будто подрастал, все больше закрывая горизонт.

Незаметно дорога увела нас от реки, пробежала по неглубокой ложбине, судя по неровной щетине травы приспособленной под выпас, накинула тугую петлю на высыхающее болотце и неожиданно распалась на две нахоженные тропки. Проворно, словно ящерицы, они нырнули в старый березняк.

Дальше березы пошли чаще, и от сотен стволов сделалось светлее, задышалось свободнее. Немного погодя запахло свежей зеленью, лугом – открылась поляна. До этого невидимое солнце ударило в глаза, поплыло оранжевым кругом, сделав все вокруг белесым: и трава, и редкие кусты лещины сразу стали похожими на проросшие в темноте погреба картофельные побеги.

Мы быстро пересекли поляну наискосок и снова вошли в прохладный березовый рай. Минут через десять нам открылось большое мещерское село. Оно вольно

легло вокруг голубого озера, заросшего у берегов камышом и рогозом. Все избы в селе, не ломая порядка, стояли торцом к воде, к ней же вплотную подходили длинные, огороженные жердями огороды. Несмотря на то что почти у каждой усадьбы предостерегающе торчал из земли обрезок рельса, улица села была вконец разбита машинами и тракторами. Пыль тяжело висела в воздухе, и, по-видимому, избавиться от нее мог только часовой ливень.

Мы прошли сквозь строй почерневших изб на край села, к последнему дому, стоявшему особняком и крытому дранью. Украшенные накладной резьбой ворота внутреннего двора покосились, оставляя достаточно щелей не только для кур, но и для бойкой дворняги, просунувшей свою чуткую морду в подворотню, лишь мы подошли к знакомому крыльцу. Здесь одиноко жил деревенский сторож Иван Алексеевич – мужик лет пятидесяти, по инвалидности ушедший на пенсию и охранявший по ночам маленькую совхозную лесопилку, откуда шел материал для строительных нужд всей округи. Широкий в плечах, крепкий на вид, он мог при желании нагнать на чужих страху. И только свои, совхозные, знали: у него слабое, никуда не годное сердце. Свое нынешнее положение Иван Алексеевич обрисовывал так: «Я как иная осина: снаружи – дерево как дерево, а нутро гнилое...»

Услышав собачий лай, хозяин вышел из избы и радостно закивал, здороваясь и приглашая в дом.

Это было холостяцкое жилье, где давно уже рукой махнули и на оставшуюся с зимы горку золы у печи, и на беспризорную паутину между переплетами рам, и даже на съехавшую с гвоздей иконку Николы Чудотворца в окладе из восковых цветов. Шесть лет назад умерла жена Ивана Алексеевича, не оставив ни детей, ни доброй по себе памяти.

Хозяин усадил нас за широкий стол, принес с огорода только-только начавшие набирать силу огурцы, подогрел пустые щи, нарезал ржаного хлеба, и мы начали обедать, слушая, как суетятся на дворе куры, попискивают в гнезде над окном ласточки, визжит лесопилка.

Потом мы сходили на берег озера, где Иван Алексеевич вчера еще кончил смолить лодку-казанку. Прошлым летом она дала течь, и теперь, в рыболовный сезон, без нее наш хозяин был как без рук. Лодка ока залась похожей на большую копченую рыбу. Когда мы ее втроем спустили на воду, она на удивленье легко пошла по сильной волне. Но рыбы нам в тот день поймать так и не удалось: время было уже неподходящее.

– Ничего,– утешил нас Иван Алексеевич,– ухи нет, так я вас байкой одной попотчую...

Ближе к вечеру мы разложили на берегу костер, расселись вокруг огня и приготовились слушать.

Иван Алексеевич накапал себе в стаканчик какого-то сердечного лекарства, выпил, поморщившись, и начал неторопливо свою то ли сказку, то ли легенду:

– Давным-давно в местах наших было море-океан. Птицы сюда не летели, рыба не водилась. Только ветер свистел. Чудное, нелюдимое было место. Ходило над морем-океаном солнце. Ходило оно, ходило и вздумало раз на себя в море посмотреться. Остановилось да загляделось на свою красоту. Поднялась жара ужасная. День палит, два палит. Месяц, а там и год прошел. Везде на земле снега великие, морозы лютые, а над морем-океаном сушь беспримерная.

Долго-скоро ли – чахнет, высыхает наше море. Взмолилось, просит у солнца пощады. А оно и слышать не хочет. Тогда запенилось, замутилось море. Не во что солнцу посмотреться. Загневилось оно, дохнуло жаром, и распалось море-океан на речки и ручьи малые, озера да болота, будто и не было его никогда.

Прослышали люди, что в этих местах, где море когда-то было, спрятаны несметные богатства. Стали они через реки переплывать, озера обходить, в болотах звериные тропки искать... Многие уходили, только никто не возвращался, лишь гуще поднимались в той стороне леса. Уж замечать стали: уйдет человек, а потом в лесу еще одной ольхой или елью больше становится. Вот, значит, во что превращались искатели-любопытники. Оттого, видно, в лесу дерево дереву – рознь.

Иван Алексеевич подбросил в костер плавника и продолжал:

– Уж и вовсе перестали ходить в те зловерные места люди. Страх одолел. Только одному человеку покоя нет. Было у него два сына и одна дочь. Посылает он в дремучий лес старшего, наказывает добыть богатства несметные. Пошел сын лесами непроходимыми, мшарами гиблыми. И был вечер, и было утро.

А на третий день забушевал ветер, пошел белый дождь, разлилось Белоозеро. Встал старший сын на берегу, закручинился: велико озеро, не переплыть, не обойти. И тут замутилось, запенилось оно и вопрошает любопытника: «Помогу тебе, коли дашь ответ: в чем богатство края

здешнего?» Отвечает старший сын: «Дерево, на потребу человеку пригодное,— вот богатство края здешнего».

Зашумело Бело-озеро, навеки накрыло молодца.

Посылает отец младшего сына, наказывает выведать богатства несметные. Пошел сын лесами непроходимыми, мшарами гиблыми. И был вечер, и было утро. А на третий день забушевал ветер, пошел желтый дождь, разлилось Желто-озеро. Встал младший сын на берегу, закручинился: велико озеро, не переплыть, не обойти. И тут замутилось, запенилось оно и вопрошает: «Помогу тебе, коли дашь ответ: в чем богатство края здешнего?» Отвечает младший сын: «Зверье всякое, на потребу человеку пригодное,— вот богатство края здешнего».

Зашумело Желто-озеро, навеки накрыло молодца.

Посылает отец свою последнюю надежду — дочь Мещеру, наказывает выведать богатства несметные. Пошла дочь лесами непроходимыми, мшарами гиблыми. И был вечер, и было утро. А на третий день забушевал ветер, пошел синий дождь, разлилось Сине-озеро. Встала дочь на берегу, закручинилась: велико озеро, не переплыть, не обойти. И тут замутилось, запенилось оно и вопрошает любопытницу: «Помогу тебе, коли дашь ответ: в чем богатство края здешнего?» Пришелся по душе ответ Сине-озеру, помогло оно Мещере. С тех самых пор и стала она жить в этих местах. От нее и люд наш мещерский пошел...

Костер разгорался все ярче, на небе высыпали звезды. Тихо вокруг. Я не выдержал и спросил:

— А что же ответила Мещера озеру, в чем богатство здешних мест?

Иван Алексеевич усмехнулся:

— Неужели сам не догадался? Конечно, в красоте...

Вскрикнула в темноте птица. И снова тишина, только плещется рядом заповедное Сине-озеро...

Чудь

Что самое загадочное в Мещере? Ответить на этот вопрос, по-моему, нетрудно: названия многих речек, озер, деревень и урочищ, разбросанных по всему этому лесному краю. Рядом с Ивановкой или Рябиновкой обязательно попадутся непривычные слуху Чаур, Лашма или Кельцы. Идешь так — от села к селу — и словно не по Мещере, а где-нибудь за границей путешествуешь.

Нарма, Шокша, Ушмар, Чарус — в этих певуче-непонятных именах слышится девственный шум леса, крик непуганой птицы, свист спущенной тетивы. Очевидная прелесть таких слов в том, что они живо будят наше воображение...

Но откуда здесь, в самом центре России, взялись эти чужие, загадочные названия, какой неведомый народ поименовал все эти озера, реки, пригодные для жилья места? Чтобы даже приблизительно ответить на этот вопрос, следует предпринять путешествие в глубь веков, взяв в спутницы археологию. Только она может чуть-чуть приоткрыть занавес, за которым скрывается древняя история Мещеры.

Мое знакомство с археологией началось еще в школьные годы, когда я попал в небольшой комсомольский лагерь, стоявший на берегу темноводной Пры. Недалеко от нашей дачи, за невысокой изгородью, лежали забытые, поросшие бурьяном шурфы археологов, ушедших отсюда, по рассказам деревенских стариков, лет пятьдесят назад. Мне показалось заманчивым осмотреть это место: не осталось ли чего любопытного?..

На хозяйственном дворе я нашел ржавую лопату, из бондарных оброчей

смастерил скребки, купил в сельмаге недорогой перочинный нож и отправился на поиски.

С утра до вечера я осторожно снимал неподатливый дерн со дна неглубоких шурфов и перетирал пальцами каждый казавшийся мне подозрительным комочек земли. Мой энтузиазм был вознагражден, и в приготовленную заранее чистую тряпицу легли остатки костяных бус, кривые каменные шилья, черные осколки керамической посуды, обломок маленького топорика с заметными зазубринами на острой кромке. Очень скоро моя коллекция не могла уже уместиться в просторной коробке из-под парусиновых туфель. У меня было такое чувство, словно я заглядываю в темный, заплесневелый колодец глубиной в четыре тысячи лет...

Но однажды моей подпольной археологии пришел конец. Местный врач, сам страстный археолог-любитель, убедил меня оставить незаконную затею и пригласил отправиться с ним на Черную Гору, посмотреть работу настоящих археологов. Гора была рядом – на правом берегу Пры, напротив нашей деревни Владычи-но.

Рано утром мы сели в узкую лодку-долбленку и, сопротивляясь заметному здесь течению, стали переплывать реку. Причалив, поднялись на высокий, черный от жирной земли холм. На высокой мачте развевался на ветру флаг с изображением кулика. Это означало, что здесь шли раскопки.

Шумный лагерь археологов давно проснулся: на кострах закипал чай, студенты – основная рабочая сила – делали зарядку, кто-то уже плескался в не успевшей остыть реке. У палаток лежало дюжины две крепких лопат, а рядом виднелись недавно вырытые шурфы. Работа шла хорошо, находок попадалось много. Часть из них была разложена на деревянном столе, наскоро сбитом из плохо оструганных досок. О многом могли рассказать те невзрачные кусочки камня, кости, глины...

Этот сухой, высокий берег реки человек облюбовал давно, еще в IV тысячелетии до нашей эры. Первобытному охотнику и рыболову трудно было найти лучшее место. В реке в изобилии всякой рыбы, в камышах плескались тысячи гусей и уток, а в лесах бродили не потревоженные никем лоси, медведи, кабаны. Главной приманкой древнего охотника был лось, поскольку давал много прекрасного мяса и отличные шкуры. Соблазняло также несметное количество пушного зверя – куницы, бобра, белки.

На охоту выходили часто небольшим отрядом. Рыли ловушки, ставили капканы. Но основным оружием был все-таки лук. В умелых руках он бил без промаха. Наконечники стрел в зависимости от дичи делали разные. Для оленя или кабана годился тяжелый кремневый. На зверя поменьше шли костяные наконечники. Небольшие, с конической головкой предназначались для охоты в лесу. Такие стрелы при неудачном выстреле не терялись: расширенный конец не позволял входить глубоко в дерево. Наконечники с тупым концом использовали для охоты на пушного зверя – они не портили шкурки.

Собака уже в те древние времена стала верным другом человека. С ней ходили на охоту, ее всячески оберегали, даже почитали. Не случайно на Черной Горе найдено четыре захоронения собак.

Древние жители Мещерского края были искусными рыболовами. Костяные гарпуны и крючки надежно обеспечивали хороший улов. В многочисленных протоках и заводях Пры расставляли сети с каменными грузилами, устраивали заколы. Так что щука, лещ, окунь и даже стерлядь не переводились у мещеряков круглый год.

Если хотите, слава мещерских умельцев пошла еще с тех незапамятных времен. Здешние гончары вручную, без всякого гончарного круга, лепили прекрасные глиняные сосуды с длинным туловом и округлым, как у ваньки-встаньки, днищем. В них хорошо сохранялась пища, а в тех, что поменьше, готовили обед. Все сосуды, как правило, украшались сложным геометрическим орнаментом, который наносили специальными костяными штампами.

Конечно, в этом лесном краю не могли не появиться и деревянных дел мастера. Они ладили луки и древки стрел, ковши для питья и берестяные туеса, сумки и поплавки. Сейчас остается только удивляться, что вся эта разнообразная «продукция» изготовлялась лишь с помощью каменных тесел, долот да скребков. Правда, были еще каменные топоры, но, глядя на них уже позже в музее, маленькие, даже изящные, я, признаться, плохо мог себе представить их в настоящей работе.

Оказалось, что и знаменитые мещерские лодки-долбленки, прародительницы той, на которой мы переправились на Черную Гору, ведут свою историю из неолитического далека. Древние мастера, вооружившись кремневыми долотами и теслами, делали такие лодки из цельного ствола дуба длиной до шести метров. Хрупкое и на вид неустойчивое суденышко на деле служило исправно, легко проходя в самых недоступных местах, выручая охотника и рыбака. Предполагают также, что на лодках-долбленках отправлялись люди в достаточно долгие путешествия – по Пре в Оку. Там, на высоком речном берегу, они добывали свой «камень века» кремень.

Большим мастерством отличались местные племена в обработке кости. Чего только не делал из нее древний мастер: гарпун, кинжал, рыболовный крючок, не лишенный художественного вкуса амулет, гребень, вязальный крючок и даже... флейту. Ее ностальгический голос хорошо был знаком древнему человеку, жившему суровой жизнью среди тихой природы, располагавшей к созерцанию. Одна из трех флейт, найденных на Черной Горе, сделана из плечевой кости гуся и покрыта тонким нарезным орнаментом, который напоминает ствол березы.

Прошли века, тысячелетия, и в непроходимых мещерских лесах мы встречаем уже иные племена – финские. Вот что пишет о них Н. М. Карамзин в своей знаменитой «Истории государства Российского»: «От моря Балтийского до Ледовитого, от глубины Европейского Севера на восток до Сибири, до Урала и Волги, разсеялись многочисленныя племена финнов. Не знаем, когда они в России поселились, но не знаем также никого старобытнее их в северных и восточных ее климатах. Сей народ, древний и многочисленный, занимавший и занимающий такое великое пространство в Европе и Азии, не имел историка, ибо никогда не славился победами, не отнимал чужих земель, но всегда уступал свои...»

Среди этих племен древние документы называют нам и мордву, и весь, и мерю, и мурому, и загадочную мещеру. Ученые до сих пор спорят о том, дало ли племя свое имя краю или, наоборот, Мещера окрестила целый народ. Ясно лишь одно, и в этом мнения сходятся, что давным-давно древними жителями Мещеры были финские племена. Это они дали озерам, рекам и урочищам свои певучие имена, о скрытом смысле которых мы сейчас можем только догадываться. Вот лишь некоторые «переводы», сделанные с помощью ныне живущих мордовского и марийского языков: Пекселы – «большой вяз», Салаур – «воровской лес», Ушмар – «умный мари», Ерахтур – «теплый яр», Нинур – «лыковая поляна».

Мещера – самое загадочное мещерское племя – селилась в междуречье

рек Пры и Гуся, в местах и ныне малодоступных, покрытых лесами и мшарами, жила особняком, потому история и не сохранила о ней почти никаких сведений. Ранние летописи не содержат даже упоминания ее имени. Уже в поздних редакциях, относящихся к XV веку, после того, как в официальных документах начинают появляться указания на мещерские городки и Мещерскую область, слово «мещера» задним числом вставляется в старый текст «Повести временных лет» как название племени.

Римский историк Тацит писал в I веке нашей эры об образе жизни финских племен, населявших Мещерский край: «У них нет ни оружия, ни лошадей, ни домов, пища у них – трава, одежда – колеи, ложе – земля, вся надежда у них – в стрелах, которые по недостатку железа заостряются костями: охота питает мужей и жен. Детям нет другого убелсища от зверей и непогоды кроме шатров, кое-как сплетенных из древесных ветвей: сюда возвращаются с охоты молодые, здесь отдыхают старики. Но вести такой образ жизни они считают блаженнее, чем трудиться на поле, чем строить дома, с надеждою и страхом смотреть на свои и чужие имущества. Безопасные от людей, безопасные от врагов, они достигли самого трудного – отсутствия желаний».

Чудь не ведала иного бога, чем природа, поэтому поклонялась священным озерам и дубравам, камням и родникам. Она не воздвигала грандиозных храмов, довольствуясь малым. В лесу или роще выбиралась небольшая четырехугольная площадка. Ее огораживали незамысловатым плетнем, а иногда и высоким тыном. Устраивалось трое ворот, обращенных на восток, юг и север. Люди входили через южные ворота, а назначенный для жертвоприношений скот вводился в восточные. Через северные ворота носили воду для приготовления жертвенного мяса. У южных дверей ставили также деревянный стол, устроенный вроде банного полка, на котором разрезали мясо на столько кусков, сколько человек принимало участие в молении.

У чудь не было жрецов, которые бы пожизненно сохраняли за собой это звание. Домашние моления совершал старший мужчина в доме. При молении всеобщем старшие избирались.

В определенный день у священных дубов или лип ставили кадки с питьем, подобным пиву. На ветвях развешивались приношения молящихся. Все становилось лицом на запад, и таинство начиналось.

В «Очерках мордвы» П. И. Мельников-Печерский так описывает одно из молений мордвы, близкой по происхождению к летописной мещере. Старший наливает по ковшу из каждой бочки, становится у священного дуба и заставляя всех кланяться дереву. Обращаясь к нему, он произносит молитву: «Березовый бог, дай много дров, Липовый бог, дай нам много лаптей и много мочалы, Бог сосны, дай нам избы, Бог бревен, дай нам бревен на избы, Бог лубьев, дай нам лубьев». После этой молитвы старший выливает весь первый ковш на корни священного дерева, а из других ковшей льет на корни других деревьев, растущих на священной поляне, стараясь, чтобы на всякую породу дерева непременно было полито хотя бы несколько капель жертвенного пива.

Чудь не была фанатичной и без вражды принимала иноверцев. Мордва говорила так: как в лесу каждое дерево имеет свой особый лист и свой особый цвет, так и каждый народ имеет свою веру и свой язык. А всего, по их представлению, на земле было семьдесят семь вер и семьдесят семь языков.

Когда славяне впервые столкнулись с финскими племенами, они встретили таких же язычников, какими были сами. Славянский поток устремился с юга, сначала обтекая Мещеру из-за ее недоступности, иссякая на правобережье

Оки, а потом исподволь проникая в неведомый лесной край. Археология не дает подтверждения тому, что наши пращуры, славные вятичи, брали землю у тихих финских племен силой. По-видимому, они долгое время жили рядом, постепенно как бы растворяясь друг в друге. Вспомним есенинскую строку: Затерялась Русь в мордве и чуди...

Сейчас трудно сказать, что принесла встреча каждому из народов: кого чем обогатила, что у кого отняла. Но незаметно, постепенно становилась Мещера русской. И не вспомнит теперь никто о бывших хозяевах края. Только нет-нет да и проглянет еще древнее, от мещеры оставшееся – то необычный говор, то поверье, то скуластое, темное от природы лицо. Нетронутыми, незамутненными сохранились лишь имена – Чарус, Лашма, Нармушадь, Колокша...

Долго жила Мещера замкнутой жизнью, пока в X–XI веках с юга, с Киевской Руси, не потянулись на север переселенцы – искатели лучшей доли. Эта людская волна докатилась и до мещерских пределов, о чем красноречиво говорят все эти русские названия – Переяславль, Трубеж, Лыбедь, Солотча. Правда, одна из легенд связывает Солотчу с татарскими пришельцами, якобы воскликнувшими, увидев благодатные здешние места: «О солодча!»—что значит «сладкая». Думаю, что это всего лишь красивая легенда. На старинной карте я обнаружил Золодчу – почти неприметный приток Днепра. Был у древних колонистов хороший обычай: обживаясь и обстраиваясь на новом месте, в память о покинутой родине давать городам, безымянным речкам и озерам старые, добрые названия.

Застучали на окраинах Мещеры топоры. Встали Переяславль-Рязанский, Москва. Пока не города еще даже – крепости. Как межевые вешки...

А в мещерскую непроходимую глухомань уходили, теснимые предприимчивым, скорым на суд и дело людом, остатки тихих финских племен да все те, кто хотел жить свободно, не по княжеской, а по своей воле.

Казалось бы, леса и болота должны были надежно защитить Мещерский край от татарского нашествия. Но уже в конце XIII века сюда с огнем и мечом пришел выходец из Большой Орды князь Бахмет. У него был сын Беклемиш. Приняв христианство и взяв имя Михаил, он и стал родоначальником мещерских князей.

Впоследствии Мещерское княжество во всем держалось Москвы и с Рязанью водило дружбу скорее дипломатическую, чем сердечную. Правнук Беклемиша-Михаила мещерский князь Юрий Федорович примкнул к войскам великого князя московского Дмитрия Ивановича и вместе «со дружиною» пал в смертельной битве на Куликовом поле. Надо отдать должное мещерским князьям: немало крови пролили они во славу отечества. Так, в сентябре 1877 года при взятии Шипки погиб полковник, флигель-адъютант князь Эммануил Николаевич Мещерский.

После славного Куликова Дмитрий Донской купил Мещеру, заключив с князем рязанским Олегом договор, по которому «князю великому Олегу не вступаться в тот раздел».

Мещерское княжество, как отмечают некоторые исследователи, в XIV веке сыграло роль буфера при нападении казанских и ногайских татар.

Новые времена приводили в Мещеру и новых людей. В летописи «Русский временщик» во второй части под годом 6096(1486) читаем: «Тояже зимы, по приказу великаго Князя, привели из Новограда на Москву житейских людей болши семи тысяч». Великие собиратели земли русской Иван III и Иван Грозный, словив

Новгородскую вольницу, выселяли «непокорцев» целыми тысячами. Новгородцы попали и в Мещеру – в места, похожие на их родные. Возможно, поселились они на месте нынешней Тумы. Высокие, стройные, русые и красивые лицом, тумачи резко отличаются от остальных мещеряков. И говор их долго отзывался новгородским акцентом.

Вскоре в Мещере образуется татарское княжество с Касымом во главе. Верой и правдой служит оно Москве, по первому зову выставляя необходимое войско, разгадывая хорошо знакомые военные хитрости Орды.

Дальновидные князья московские решают почти всю Мещеру отдать на откуп татарам, этим самым обеспечив себе надежные аванпосты. Иван Грозный в 1559 году писал ногайскому мурзе Асану: «А вы ныне юртов своих отбив ходите без пристанища. И похотите себе нашего жалования, и вы бы приехали к нам со всеми своими людьми, которые ныне с вами. А мы вам всем и вашим людям дадим место на украине Мещеры, где вам пригоже кочевати, и пожалуем вас великим своим жалованьем и устроим вам учиним, как вам мочно быти бескорбным».

Мещера приобрела со временем настолько татарский облик, что волжские воровские люди в случае плохой поживы на Волге обыкновенно отправлялись добывать себе зипуны у темниковских и кадомских татар, считая их как бы не принадлежавшими к русскому царству.

Прочно, надолго рядом с русскими легли татарские села с непривычным для вчерашних степняков оседлым бытом, своим уставом и образом мыслей.

По мещерским окраинам мордва еще держалась, оттесненная к Цне и Мокше.

Но не только мордвина или татарина можно было встретить тогда на лесной мещерской тропинке. На берегах Пры держались за болота остатки литовцев, попавших сюда во времена давней войны Рязани и Литвы. Неспроста южные соседи называли мещеряков иногда литвой.

Неведомые ветры истории занесли в Мещеру даже итальянцев. В нескольких километрах от Спас-Клепиков есть деревня Фомино. Она была вотчиной Дмитрия Дмитриевича Засецкого. Древний дворянский род Засецких происходил от итальянца, покинувшего родные места еще в 1389 году.

В Отечественную войну 1812 года в мещерских лесах долго плутал, а дютом, говорят, так и остался в какой-то деревеньке небольшой французский отряд.

В лихие годы народных испытаний бежали в Мещеру преследуемые и притесняемые, разбойники и бунтари, разуверившиеся и сильные духом, скоморохи и раскольники. Этот лесной край стал надежным приютом староверов. Их древние кладбища вы найдете и сейчас. Однажды, промышляя грибы, я случайно натолкнулся на такое кладбище у небольшой деревни Селезнево. Оно было спрятано от посторонних глаз в глухом углу леса. Могилы не разделялись изгородями, а там, где наши предки по обычаю ставили кресты, лежали камни-валуны, невесть откуда здесь взявшиеся.

Да, кого только не собирала под своей зеленой крышей Мещера! Веками варилась в ней, как в огромном котле, интернациональная похлебка по утраченному уже теперь рецепту, составленному самой историей.

Древнее мордовское поверье говорит, что, когда бог затеял сотворить человека, он взял глины, песка и земли от семидесяти семи стран света. Веками вырабатывался характер коренного мещеряка, вобравший в себя черты и черточки многих племен и народов.

Так кто же они такие, коренные мещеряки?

Если быть точным, то мещеряки – это несколько еще недавно различных групп, живших в определенных местах обширного края. Этнограф, побывавший здесь в начале 20-х годов нашего века, характеризует их так: в бассейне реки Пры живут собственно мещеряки – в основном темноволосые, среднего роста, остроносые, с черными глазами. На северо-восток от реки Пры и по ее истокам среди болот и озер располагаются боляки. Их отличают светлые прямые волосы, голубые глаза, тонкие, в ниточку губы. Боляки имеют легко заметное сходство с белорусами.

В районе Тумы живут тумачи и жадоба – высокие, стройные, красивые лицом. И уже по водоразделу между Прой и Гусем, по реке Нарме и Курше располагаются куршаки. Они коренастые, русые, с узкими серыми глазами.

В характере мещеряка – изворотливость, сметка. Жизнь в лесном краю приучила его рассчитывать только на свои силы. Непокорство судьбе, тяга к перемене мест, к поиску лучшей доли – это тоже присуще ему. Он с давних времен широко ходил по земле, бывая не только в соседних губерниях, но забираясь в самую дальнюю за границу. Есть свидетельства, что мещерские плотники доходили до Китая, были на Филиппинах. Общение с новыми людьми не прошло для них даром. Они приносили с собой не только заработанные деньги, но и иную культуру, желание во всем подражать горожанам – в одежде, нравах, привычках.

Пришельцы всегда отмечали отменную вежливость и гостеприимство мещеряков. В старину на хуторах принимали и кормили беглых каторжников. Но каждому, как отмечают очевидцы, обязательно бросались в глаза и недоверчивость мещеряков, упрямство, настырность. Про таких в народе говорят так – «заворотень».

...Века прошумели над Мещерой. Не найти уж и могил тех, кто обживал и осваивал когда-то этот край. Но держится о них память – где в древнем имени деревеньки, где в потомственной сметке какого-нибудь мещерского чудомастера, где в рукотворной дубовой роще. Славная это память.

Дай бог нам такую...

В старом монастыре

Кажется странным, что в этом краю, укрывавшем некогда и монашеский скит, и общину приверженцев старой веры, не сохранилось и десятка деревянных церквей и часовен, которыми богат, к примеру, российский север. Вроде и материала вдоволь, и плотники – признанные миром мастера, а нет мещерских Кижей, и не ищите...

Во время своих долгих странствий мы увидели только две деревянные церковки. Одна, двуглавая, обшитая дряхлым тесом, стояла на краю приречной деревни Копаново. Другую церковь, а точнее, оставшуюся от нее колокольню с немой звонницей мы обнаружили на лесной опушке неподалеку от деревни Салаур. С одной стороны к колокольне подступала старая роща, но с севера и востока от самых хлестких ветров не было никакой защиты. Колокольня держалась чудом, опираясь на чурбачки, подложенные под крепкое еще основание.

Эти две церковки да пяток часовен – такой архитектурный «улов» принес нам с надеждой заброшенный невод странствий.

Может, и не было здесь ничего похожего на Кижь? Думаю, было. Разве что своей, мещерской, выделки. Известно: не один рубленный топором храм поставили на стороне те же тумские плотники. Так неужели не постарались для себя?

Старались, только великие их труды сводили на нет сумасшедшие лесные пожары, которые если не через год, так через десять лет без жалости слизывали не то что церкви – целые села, загоняя уцелевший народ в спасительные речки и озера. Как утверждает статистика, по количеству пожаров Рязанская губерния, особенно ее лесные районы, не раз занимала печальное первое место в России. В среднем из каждых ста сел и деревень за год сорок сгорало дотла.

И как ни любо сердцу мещеряка было дерево, жизнь вынуждала его строить храмы из камня. Так поднялись со дна зеленого мещерского моря каменные острова церквей в Касимове, Погосте, Гусь-Железном и, конечно, в Солотче. Последнюю недаром называют воротами в Мещеру. Открыв их, можно было попасть в московские, муромские, владими́ро-суздальские земли. Правда, дороги перед добрым путником лежали глухие, небезопасные, зато для непрошенных гостей самые подходящие: лес надежно охранял тайну передвижений.

Как всякие важные ворота, Солотча должна была иметь крепкий замок. С конца XIV века им стал монастырь, крепостью севший на речном обрыве. Если пройти через главные ворота нынешнего Солотчинского монастыря, пересечь наискосок двор, выйти к обвалившейся западной стене и посмотреть с высоты на далекий горизонт, станет понятным, почему выбрали это место. Окская пойма отсюда как на ладони, и невозможно было незамеченным подойти ближе чем километров за двадцать. Заросший бурьяном обрыв и сейчас крут и неприступен, а скрытые подходы к старице в избытке обеспечивали крепость-монастырь в случае вражеской осады питьевой водой.

Ныне Солотчинский монастырь не может, конечно, дать никакого внешнего представления о первоначальной деревянной постройке, окруженной стенами-«городнями», которые по сравнению с каменными выглядели внушительно. Такие стены рубили «тарасами»: две параллельные стенки через каждые 6–8 метров соединяли поперечинами, а образовавшиеся клетки заполняли землей и камнями, в них прорубали бойницы для нижнего боя.

По преданию, за сохранившимся донине храмом Рождества стояла церковь Алексея Митрополита, сообщавшаяся с княжеским теремом. Рублена церковь была из сосны. В дело шли только отменной прямизны бревна из звонкой конды – смолистой, мелкослойной, несукватой сосны, росшей в борах-черничниках. Каждое дерево выбиралось отдельно, как говорили старики, «с молитвою», и не имело изъяна.

Прежде чем приступить к работе, мастеру следовало отойти от мирской суеты, очистить душу и тело. Он выдерживал долгий пост, потом парился в бане и, надев чистую рубаху, принимался за работу.

Чертежей – никаких. Только замысел в голове. Он прост, бесхитростен, но не без чувства. В одной подрядной записи, составленной древней плотницкой артелью, сказано: «Рубить церковь высотой, как мера и красота скажут». Без единого гвоздя, с помощью лишь топора, долота, пёрки-сверла, скобеля да отвеса творили мещерские мужики деревянное чудо под осиновыми куполами со звоном, пльвшим над лесами то праздничным благовестом, то тревожным набатом.

Основателем Солотчинского монастыря был знаменитый рязанский князь Олег Иванович. Точных свидетельств этому нет, но есть предание, согласно которому Олег вместе с супругою Евфросиньей оказался однажды на берегу речки Солотчи. Там они повстречали двух отшельников – Василия и Ефимия. Они-то и внушили великому князю мысль о монастыре. Олег заложил его в

1390 году, полагая, что ему не помешает загородная резиденция, которая могла послужить и надежным убежищем в те смутные междоусобные времена. Н. М. Карамзин характеризует эти времена «скудными делами славы и богатыми ничтожными распрями многочисленных властителей, коих тени, обогранные кровью бедных подданных, мелькают в сумраке веков отдаленных». А другой русский историк, С. М. Соловьев, добавляет: «Действующие лица действуют молча, воют, мирятся, но ни сами не скажут, ни летописец от себя не прибавит, за что они воют, вследствие чего мирятся; в городе, на дворе княжеском ничего не слышно, все тихо: все сидят запершись и думают думу про себя; отворяются двери, выходят люди на сцену, делают что-нибудь, но делают молча».

В то время монастыри были и церковной обителью, и крепостью, служившей не только делам божественным, но и мирским. Монастырям жаловали земельные угодья, их ублажали золотом и серебром из княжеской казны. Бедная и неимущая поначалу братия год от года умножала свое влияние, богатство, соперничая с княжеским окружением уже не в святости, а в доходах.

В этом смысле судьба Солотчинского монастыря не исключение.

Тихая обитель князю Олегу пригодилась очень скоро и выручала его не однажды, когда надо было отсидеться в лесах, пережидая неистовство татарских орд, время от времени налетавших на пограничные с Диким Полем рязанские земли. В самом конце жизни Олег перебрался в монастырь навсегда, по обычаю того времени сменив одежду княжескую на мантию инока.

Великого неудачника, пошедшего после славного Куликова на мировую с соперницей Москвою, князя Олега до конца дней мучили гордыня и зависть: не ему суждено было испить чашу славы. Напротив: среди современников он слыл изменником, хотя, сын своего времени, Олег был рабом междоусобиц и княжеской корысти, тщетной мечты поднять Рязань надо всеми. Человек ума редкого, что отмечали даже его закоренные враги, Олег в своих устремлениях стал «жертвой» обыкновенной географии – Рязань была первой на кровавой дороге из Орды в Русь.

Храброму воину, но неважному стратегу, ему не повезло и с Литвой. Всю свою жизнь он вел с ней большие и малые войны. Не думал он, что судьба рукою Литвы нанесет ему последний и смертельный удар: в начале 1402 года сын Олега Родослав пошел на Брянск, но у Любутска «побиша Литва рязанцев, а князя Родослава изнимаша и приведоша его с нужею к Витовту и ско- ваша его и ввергоша в темницу».

Удар пришелся в самое сердце. 5 июля того же года в монастыре торжественно отпевали схимника Иоакима – в миру великого князя Олега Ивановича Рязанского. Ненамного пережила своего супруга и княгиня Евфросинья. Князь и княгиня были похоронены здесь же, в основанном ими монастыре, в Покровской церкви, стоявшей на самом краю обрыва. В одно из сильных половодий вода подмыла берег, и храм рухнул. Пришлось гробницы Олега и Евфросиньи перенести в другую церковь.

После смерти Олега монастырь не захирел, не покрылся провинциальной паутиной. Рожденный в мещерской глухомани, он не остался на отшибе российской истории, чутко следя за всеми переменчивыми ветрами, дувшими сначала с Дикого Поля, а потом из Москвы. В XVI веке Солотчинский монастырь уже играл заметную роль в истории Руси. В 1552 году монастырское войско приняло участие в походе Ивана Грозного на Казань. В

память об этом событии в Солотче соорудили шатровую Алексеевскую церковь.

А в тихих кельях монастыря безымянные черноризцы заносили в летописи, эти своеобразные приходно-расходные книги народов, записи о деяниях современников, чередуя упоминания о важных событиях с наставлениями.

К XVII веку монастырь стал крупнейшим земле- и душевладельцем. Ему принадлежало больше 12 тысяч десятин луговых и пахотных земель, без малого 800 крестьянских дворов. Возами везли в монастырские подвалы дикий мещерский мед, желтый воск на свечи, моченую клюкву, похожую на янтарь живицу, деготь, крашенные ольхою домотканые холсты, озерную рыбу, соболя, беличьи и бобровые шкурки и много другой всячины.

Со временем монастырь стал так богат, что архимандрит Игнатий Шангин, назначенный в 1688 году, энергично взялся за полное переустройство всего монастырского хозяйства. Его стараниями и составлен был в основных чертах дошедший до нас облик монастыря.

Начали с возведения церкви Святого Духа и трапезной палаты – сооружения в высшей степени примечательного. Нечасто увидишь подобное сочетание церковного и светского. По сути дела, под одной крышей размещались и церковь, и погреб вкуче с квасоварней и пивоварней. Вверху, над сенями, гостиной и пекарней, располагавшимися в западной части трапезной, находились кельи.

Конечно, не обошлось тут без подражаний. Но копии снимали с образцов, данных не кем-нибудь – самой Москвой.

Церковь Иоанна Предтечи строилась в одно время с возведением восточной каменной стены взамен подгнившей деревянной. При раскопках в 1958 году в церкви был найден закладной камень с тайником, в котором обнаружили листок бумаги со скорописью XVII века. Запись сообщала об основании надвратного храма «при архимандрите Игнатии в лето 7203 июля в 4 день», то есть в 1695 году. Замечательны большие керамические фигуры евангелистов, украшающие эту маленькую церковь. Барельефы были закуплены у известного московского мастера Степана Полубеса.

Кажется, много надуманно пышного в этих двух церквях. Но дивное дело – этот затейливый архитектурный цветок среди строгих сосен не выглядит чуждым пришельцем из экзотической оранжереи.

Вот уже несколько веков, напоминая нам о былом, стоит Солотчинский монастырь. Посмотришь: и впрямь каменные ворота в зеленую Мещеру...

Гусь-Железный

В лесу за Гусь-Железным мы набрали на поляну, сплошь покрытую широкими канавами и воронками. Старые раны уже затягивались дерном, но оставались еще достаточно глубокими, иные – в рост человека. Можно было подумать, что поляна побывала под бомбежкой.

Ясность внес гусевский пастух, гнавший мимо свое стадо. Оказалось, что лет сто назад здесь промышляли «дудочки» – мещерские рудознатцы. По берегам рек и озер, а то и прямо в лесу рыли они глубокие ямы и каналы – «дудки», добывая доступную в этих местах болотную руду, из которой уже варили железо.

– Вот Гусь наш оттого и прозывается Железным, – заключил на прощание пастух.

Не ищите на карте мещерских месторождений. Современных геологов эта бедная железом руда не интересует. Зато древние домники за неимением

лучшего работали исключительно на болотной руде. Ее артели «дудочников» добывали вплоть до XVIII века.

По берегам Гуся, Пры или Нармы часто можно увидеть красно-рыжие пятна. Словно ржавчина ест землю. Это выходы болотной руды – бурого железняка. Руда иногда залегает на глубине в четыре метра слоями двадцать – тридцать сантиметров толщиной. Ту, что когда-то находили в березняке или осиннике, считали лучшей, потому что железо из нее было мягче, податливей, а из руды, найденной в ельнике, жестче и крепче.

Но чаще всего руду отыскивали не в лесу, а на дне болот или озер. Ее обнаруживали там острым шестом, железным щупом – «рожном», а добывали с лодок или плотов специальными черпаками на длинных рукоятях.

Руду брали обычно в августе и месяца два сушили. В октябре ее обжигали на кострах и санным путем везли к месту выплавки. Куски руды засыпали в печь

поверх горящего древесного угля, который доставляли в Гусь-Железный откуда-нибудь из Колесникова или Норина потомственные углежогги. Обязательным для варки железа был постоянный приток воздуха, для этого в нижнее отверстие печи вставляли сопла мехов. Мехи раздувались вручну. Даниил Заточник так пишет об этом важном процессе: «... не огонь творит раже-жекие железу, но надымание мешное».

Так получалось кричное железо, из которого уже потом кузнецы ковали плужные лемеха и топоры, ме- дорезки и дверные пробои, гвозди и замки, очажные цепи и стремяна и много еще такого, о чем справедливо говорили – «человеческими хитростями утворены, мастерскими умышленьями и догадами преухорошены».

Бедна была здешняя болотная руда, но она сделала сказочно богатым человека, о котором и сейчас помнят в Мещере. Речь о лице вполне историческом, «возникшем из ничтожества», а впоследствии ставшем дворянином, – Андрее Родионовиче Баташове.

Как попал он в Гусь-Железный? Об этом есть разные сведения, подчас противоречивые. Любопытно, на мой взгляд, привести здесь народные предания...

Баташов был родом из Тулы и в ранней молодости работал сначала подручным, а потом и мастером-кузнецом у Демидова. Однажды, обходя мастерские, хозяин заметил ловкого, сообразительного молодца. Понравились ему и меткие, смелые ответы кузнеца. Позже Демидов пообещал Баташову найти хорошую невесту, но при этом предупредил: «Смотри, жди меня к себе на свадьбу!» Приказал и управляющему мастерскими: «Девка у тебя на выданье, готовь ее к венцу, а женихом будет кузнеца Родьки сын Андрюшка». Слово Демидова – закон, так что управляющему пришлось подчиниться.

После венчания, как только гости сели за стол, к дому подкатила запряженная цугом парадная демидовская карета с лакеями на запятках. Лакеи выволокли из нее большую, жирную свинью. Баташов смекнул: проверяет его Демидов. Не растерялся – посадил гостью в передний угол, положил все угощенье в корыто – потчует. А провожая свинью, упал Андрюшка перед ней на колени, благодаря за оказанную честь. Рассказывают, что Демидов остался доволен находчивостью Баташова. Он и помог ему позже стать промышленником.

Сознательно выбрав место поглуже, дело Баташов поставил на широкую ногу: построил заводы – в Гусе и в Сынтуле, огромный и по сегодняшним меркам дом, возвел белокаменную плотину, которая и сейчас служит

отличным мостом через речку Гусь, завел оранжерею с диковинными растениями. Кстати, эта оранжерея была не только для развлечения. Под стеклянной крышей вызревали, можно сказать, «политические» фрукты. Чтобы угодить Потемкину, фавориту Екатерины II, Баташов и в трескучие морозы поставлял к столу сиятельного князя свежие ананасы да огурчики. Для этой цели была безупречно организована небывалая эстафета: непрерывная цепь верховых, которые через снега скакали во весь опор, передавая друг другу очередную посылку для фаворита.

В народных преданиях Баташов рисуется человеком безмерной жестокости и коварства. Так, однажды, узнав о неожиданной ревизии, он, чтобы уничтожить улики, открыл шлюз и затопил подземные мастерские, где сотни крестьян в это время чеканили для него фальшивые деньги.

Еще один характерный эпизод. Долгое время Баташов уговаривал соседа-помещика продать ему имение. Тот упорствовал, не соглашался. И Баташов решил жестоко наказать несговорчивого соседа. Дождавшись, когда тот отправился по делам в Касимов, он послал в его усадьбу свой собственный эскадрон улан, которым командовал какой-то головорез. Усадьба запылала, а согнанных из окрестных деревень крестьян заставили перепахать все, что осталось от барского дома. Такая же участь постигла и деревни помещика. Вернувшись вскоре, он вместо цветущей усадьбы обнаружил огромное вспаханное поле.

С тех далеких времен до нас дошли не только легенды, но и большой барский дом, плотина и впечатляющих размеров белокаменная церковь. Она необычна своей архитектурой, от которой так и веет средневековьем. Все эти колонны и узкие стрельчатые окна уводят нас с берегов речки Гусь куда-нибудь в королевскую Францию времен Карла V. Церковь давно уже предана забвению. У входа устроена коновязь, а в алтарном приделе – какой-то склад. Но и сейчас баташовский храм не потерял своего белокаменного величия.

Баташовы и после Андрея Родионовича сидели на Мещере крепко, выжимая из гусевских да сынтульских мужиков последние соки. Но случилось так, что терпению последних наступал предел. Мы знаем: испытал Гусь-Железный железную силу народного гнева! Вот живое свидетельство очевидца, рабочего сынтульского завода Михаила Петровича Котова, записанное краеведами в 1926 году. Оно заслуживает того, чтобы привести его полностью.

«Это происходило в 1902 году. Владельцы завода Баташов М. И. и его жена до того обнаглели, что заработную плату стали часто задерживать. Ходьба на завод Гусь за деньгами стала безрезультатной. Лавочники отказывались давать хлеб в долг. Обращались за помощью к приставу, но всегда получали ответ: «Ваше дело разбирается». Рабочие пришли в отчаянье.

Целых три месяца ничего не платили. Жены стали даже детей носить в контору, говоря: «Нате, кормите!» Но ничего не доносилось до Баташовых. И тут терпению пришел конец: собрались рабочие у ворот завода и решили добиваться своих прав.

Нашлись смельчаки, схватили веревку колокола, ударили в набат. Народ стал прибывать: бегут и стар и млад. «Куда, ребята?» – «В контору, к управляющему, бить их надо!» – гудит толпа. Ринулись в контору, только все конторские разбежались. Злость нас взяла. Стали сыпаться стекла, штукатурка. В один миг из ненавистой конторы получились одни стены. Но местные власти не дремали: урядник, старшина и староста уехали за подмогой в Касимов.

Решили идти на Гусь, добиваться правды у самого Баташова. Пошли лесом – это часа два ходу. Вот и барский дом. Несколько человек – выборных – отправились к хозяину. Баташов в это время сидел за обедом. Каких только яств нет перед ним на столе! Испугался, хитрая лисица, спрашивает: «В чем дело, ребяташки?» Отвечаем: «Как в чем, барин? У нас хлеба нет, денег когда дадите?» А Баташов ответствует: «Сейчас я выйду к вам, ребяташки, не волнуйтесь».

Рабочие на крыльцо, все объяснили народу.

– Без расчета, без денег не уйдем! – слышались крики.

Но вот выходит баташовский юрист Оскар Карлович и говорит:

– Скоро, ребята, деньги вам выдадут, так сказал барин, а сейчас ступайте по домам.

– Мы есть хотим! – кричат рабочие.

– Вот барин дал 20 рублей, а это еще от меня 30 рублей, – отвечает поверенный, дает эти деньги и уходит. Что с деньгами делать? У Баташова расчет был – пропьют рабочие деньги, утихомятятся. Действительно, нашлись любители, пошли в казенку, взяли водки, ситного. Но большинство не успокоилось: не умирать же с голоду!

Пошли снова к барскому дому, а Баташов тем временем уже скрылся. Начали мы в отчаянье громить баташовский дом. Появились три жандарма, но, увидев гнев народный, убежали в страхе. Все в доме подняли вверх дном, а особенно досталось картинам с изображением царей, до того ненависть была велика.

В эту роковую ночь были потрясены все устои Баташова, наглядно показано, что его могущество ничтожно по сравнению с той силой, что была проявлена рабочей рукой.

А утром приехало несколько стражников под началом станового пристава. Они попытались найти зачинщиков, но безрезультатно. Через день начало слетаться воронье посолиднее: исправник, следователь. Власти велели созвать сход и пропустить рабочих сквозь строй баташовских слуг: вдруг кого узнают. Кого признали, посадили в карцер.

Прошел еще день, набрали человек семь, по мнению начальства виновных, и погнали в Касимов, в тюрьму. Провожают жены, дети – реки слез.

– Ну, прощайте, – сказал тогда Петр Фомин, – не забывайте нас.

Рабочие порешили: давать деньги семьям уведенных из своего заработка. А платить начали через несколько дней, учинили полный расчет. Итак, первая брешь была пробита.

Целый год шла волокита и следствие, и только на перевале другого года был выдан обвинительный лист всем обвиняемым. Суд назначили в городе Владимире, так как разгром имения был во Владимирской губернии. К делу было привлечено много свидетелей и человек 15 обвиняемых.

Собрались на суд. На дворе холодно, зима, а одежда плохая, лапти никуда. Предстоит мучительный путь – без малого 150 верст. Жены собирают на дорогу узлы, а слезы так и текут по щекам.

Приехали во Владимир, остановились на постоялом дворе. Напились чаю, лошадям дали корм и отправились искать своих защитников.

Суд шел при закрытых дверях, дабы не знало общество, как глумились над рабочими Баташовы. Опрошены свидетели, прокурор сказал обвинительную речь, в которой намекнул на три года заключения. Но защитники доказывали, что вина была Баташова, что деньги, которые он не платил рабочим, обрекая их на голод, – это подстрекательство к бунту. Суд постановил – от 2 до 6

месяцев тюрьмы. 2 месяца – не три года. Это была, по существу, победа над Баташовыми».

...Через Гусь-Железный, мимо белокаменной церкви, пробираясь сквозь заросли ивняка, течет речка Гусь. Маленькая мещерская речка, которая впадает в большую русскую реку Оку...

«Кукушка»

Открыл как-то томик рассказов Константина Паустовского и прочел: «За Гусем-Хрустальным, на тихой станции Тума, я пересел на поезд узкоколейки... Узкоколейка в Мещерских лесах – самая неторопливая железная дорога в Союзе».

А что же с ней стало сегодня?

Никогда еще не удавалось мне проехать по Мещере на поезде. Сколько раз видел я теряющуюся в лесах узкоколейку, но она была пустынна и казалась ветхозаветным памятником, содержащимся в образцовом порядке исключительно с музейными целями. И лишь однажды из-за поворота выскочил зеленый, как елка, тепловозик и, по-разбойничьи свистнув, скрылся в лесу. Это было похоже на встречу с давно вымершим существом...

Когда-то узкоколейка тянулась почти до Рязани, до левобережья Оки. Пассажиры могли добираться до станции, перейдя через реку по плашкоутному мосту. Старожилы помнят эти времена. Теперь пассажирские поезда не ходят, а конечная товарная станция находится в пригородном селе Шумашь. Мы с трудом разыскали ее среди изб, сараев и огородов. Под вековым вязом, давно облюбованным грачами, было устроено маленькое депо. На путях, по которым вольно гуляли куры, стоял, будто игрушечный, вагончик. Рядом у колодца висело на перекладине било – отрезанный автогеном кусок рельса, на котором было выбито «1886 г.». На станции расположился, как гласила самодельная табличка, «Дом отдыха поездных бригад». Но при более близком знакомстве возникшие было курортные ассоциации быстро улетучились: в добротной деревянной избе после трудного рейса отсыпались машинисты, помощники, кондуктора.

Доставить нас в Туму вызвался машинист Алексей Иванович Карпов. Он двадцать лет работает на узкоколейке и знает о ней, кажется, все. Мы забрались в кабину тепловоза, машинист дал гудок, и поезд тронулся. Не заметили, как промелькнули за окном кубики новых домов в Полянах, проскочили переезд у поворота на Агро-Пустынь. Узкоколейка все глубже вводила нас в Мещеру...

Эту железную дорогу по непролазным топям и лесам начало прокладывать еще в конце XIX века акционерное Общество подъездных путей Рязано-Уральской железной дороги. Работа шла трудно. Шутка ли, насыпать полотно, да так, чтобы не было заметной усадки там, где и знойным летом стоит вековая вода! Но дело все-таки двигалось, пока не споткнулось о препятствие совсем неклиматического свойства. Все чаще и чаще приходившие поутру строители видели разобранными уложенные накануне пути. А скоро дошло и вовсе до горячего: в одну ночь сгорел железнодорожный мост через Пру у торгового села Клепики. Началось расследование. Выяснилось, что войну не на жизнь, а на смерть новой дороге объявили мещерские крестьяне, издревле занимавшиеся извозом. Узкоколейка отнимала у них нелегкий, но последний хлеб. Крестьяне деревни Харламово Парахинской волости не раз принимались разбирать рельсы – акционерное общество не хотело выплачивать им деньги за землю, отчужденную под полотно. Но, как известно, плетью обуха не

перешибешь. Летом 1899 года движение на дороге наконец открылось.

Это наверняка была самая тихая железная дорога в России. От Рязани до Владимира (195 верст) поезд тащился 15 часов, со скоростью обыкновенной лошади. Отчего же так медленно? Губернская газета «Рязанская жизнь» в номере за 26 апреля 1914 года высказала свое предположение: ни на одной железной дороге нет такого обилия буфетов. Их открыли тогда тринадцать. Нередко поезд останавливался в пути, и пассажиры разбредались по лесу – кто по грибы, кто по ягоды. Не могу удержаться от соблазна, чтобы не привести ходивший тогда анекдот, о котором я узнал из той же газеты. Пассажирский поезд идет из Мещеры к Рязани. Вдоль полотна шествуют на базар шумаш-ские бабы. Кондуктор предлагает одной престарелой бабушке: садитесь, довезем! А в ответ на любезное предложение старушка отвечает: «Что ты, касатик, я спешу!»

Ну а если без шуток, то узкоколейка не спеша делала все-таки большое и нужное дело. Перевозила людей и грузы. Благодаря ей в глухой крестьянской Мещере стал складываться свой рабочий класс. В годы первой русской революции рабочие-железнодорожники станции Тума стали ядром подпольной группы, которой руководил инженер Н. Н. Будаевский. Родились и первые династии железнодорожников – Труниных, Мироновых, Тюкаркиных, Куликовых.

Нелегко был труд на дороге. Так, за смену одному грузчику приходилось на руках переносить в общей сложности до 16 тонн хлопка, угля, леса. Кондуктора работали в сложнейших условиях по 12 часов в сутки, вооруженные громоздкими атрибутами сигнального снаряжения: непомерной длины веревкой, железными «башмаками», боковыми фонарями. Притом таскали с собой и сундук с провизией, а на промежуточных станциях снабжали паровоз дровами.

Исправно несла службу узкоколейная дорога в годы первых советских пятилеток. Торф, лес для новостроек страны шли по ней непрерывным потоком.

Вписаны в историю дороги и драматические страницы. 19 декабря 1929 года поздно вечером из Тумы в Рязань на колхозный съезд ехали представители молодых колхозов Мещеры. У станции Барские кулаки устроили на путях завал, и поезд, с ходу врезавшись в него, сошел с рельсов. Так погиб тумский машинист Александр Иванович Иванов, отец шестерых детей. Гроб с его телом в Туме встречали поздно вечером, с факелами. Это была настоящая демонстрация народного гнева против врагов коллективизации...

Памятным был для железной дороги январь сорок второго, когда эвакуированные из Ленинграда и Москвы двинулись на юг через Туму и Рязань. Тысячи и тысячи людей благодарны узкоколейке, которая в годы военного лихолетья помогла обрести кров и защиту. Шли по дороге и разные грузы. В конце октября сорок первого года около пяти часов вечера на станцию Тума был налет немецких самолетов. Так сражалась узкоколейка в годы войны. Участвовала она и в целинной эпопее. Со станции Тума в далекий Казахстан для перевозки хлеба были посланы десятки неприхотливых паровозов.

Давно уже от Тумы до Владимира проложена широкая колея, а рязанская узкоколейка так и осталась, счастливо дожив до наших дней. Может, решили, что именно такая дорога и нужна в тихом лесном краю...

...На станции Ласково мы сделали первую остановку. У лесопилки нас

поджидали груженные тесом платформы. Запахло смолой, закружилась желтая опилочная поземка. Кондуктора быстро взялись за дело, прицепили дюжину платформ, и мы тут же тронулись, так как путь предстоял дальний. Алексей Иванович прибавил обороты. Тепловоз прытко побежал по рельсам, посвистывая на поворотах, чтобы предупредить нередких в эту пору грибников.

Встревоженные тепловозом, выпархивали из густого сосняка ленивые голуби-клинтухи, суетливые сороки. Как рассказал нам машинист Алексей Иванович Карпов, живности здесь хватает всякой. Не раз доводилось ему видеть из окна кабины и волков, и лисиц, и кабанов.

– Однажды нагнали двух лосей. Они бежали вдоль насыпи. Стал я их обгонять, а они ходу прибавили. Я на газ, и они «газку» поддают. Ну, думаю, кто кого обойдет. Даже в азарт вошел. Так вот рядышком и шли километра три. Потом лоси в лес свернули... Много у нас интересного. Вот здесь на перегоне за Ласковым есть одна заветная поляна. По весне проезжаешь мимо – подснежников видимо-невидимо. Красота...

У Спас-Клепиков лес кончился. Мы одолели довольно длинный деревянный мост через Пру. Она тихо шумела внизу, натываясь на сложенные из бревен быки. Снова потянулись открытые места, с редкими сосновыми и березовыми островками. Впереди была Тума.

К ней подходили уже к вечеру: поплыли низкие домики, пахло жильем, жареной картошкой, взбитой за день пылью. Вот и станция...

Машинист открыл скрипучие ворота и загнал тепловоз в небольшое депо. Кругом было полно железа, и после долгой лесной дороги ночное пристанище тепловозов показалось нам неудобным. И только картина, висевшая на стене прямо напротив входа, как-то мирила железобетонное депо с оставшимися за воротами лесом, полями и речкой. Это была писанная маслом копия с шишкинской «Ржи».

Ночевали мы у старого кондуктора дяди Вани. Он начал работать на дороге, когда ни о каких тепловозах не слыхали, а по узкоколейке ходили тихоходные паровозы, зарываясь зимой в сугробы, а летом буксуя на крутых подъемах. Старенький локомотив, на котором нес службу дядя Ваня, имел обидное прозвище «Мерин». Наверное, о нем писал в «Мещорской стороне» Константин Паустовский: «Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом... Он и вправду был похож на старого мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался».

Теперь, когда описываемые времена канули в Лету, к паровозам испытываешь необъяснимую нежность. Это дымное порождение цивилизации, стремительно уходящее в небытие, вызывает сочувствие. На Западе бытует даже такой термин – «паровая ностальгия».

Паровозы коллекционируют, устраивают и небольшие заповедные железнодорожные ветки.

В одном из тупиков на станции Тума стоял такой паровозик – еще «времен Стефенсона». Он был без тендера, но держался молодцом и однажды даже участвовал в съемках какого-то исторического фильма. На его проржавевшем боку тогда вывели белой краской: «Рокотов и К°». Таким я его и сфотографировал, не предполагая, что снимок станет последним. Железнодорожная станция не выполняла плана по металлолому, и в жертву мартену предложили сдать беспризорный паровозик. Заступников у ветерана узкоколейки так и не нашлось – его без жалости изрезали автогенном...

Право, совсем бы неплохо заносить в Красную книгу и паровозы.

...Продолжить путешествие по узкоколейке мы могли теперь с достаточным комфортом – в пассажирском вагоне. Раз в сутки от Тумы до Головановой Дачи ходит поезд, успевая за несколько часов проделать путь туда и обратно.

Мы купили билеты и стали ждать посадки в зале станции, от нечего делать изучая висевшую на стене двухметровую карту Советского Союза. Страну, как огромную рыбу, опутывал прочный невод железных дорог. Среди известных миру магистралей мы обнаружили и тумскую узкоколейку – маленький красный червячок на ярко-зеленом поле.

Ближе к трем часам мы вместе с другими отъезжающими потянулись на перрон. Там уже стояли поданные заблаговременно вагончики, похожие внутри на обычные наши пригородные электрички, только в два раза меньше размером. На скамейках расположились старушки с кошельками, набитыми хлебом, крупой и пачками «Беломора». Тут же устроились отдыхающие с ведрами и лукошками. Два парня еле втиснули в тамбур телевизор. За минуту до отправки прыгнул на подножку сельский почтальон. По разным нуждам развозила людей узкоколейка: кого по грибы да ягоды, кого на работу или домой. Маленькая дорога до сих пор остается единственной надежной ниточкой, связывающей мещерскую глухомань с Тумой. Многочисленные болота и летом не всегда дают возможность наладить дороги, а весной или осенью добраться до Головановой Дачи или Курши можно только* ко поездом. «Чего нам горевать,– шутят куршаки,– связь-то с миром у нас железная!»

В путь мы тронулись точно по расписанию. Мещерский поезд, пожалуй, единственный в Союзе, который никогда не опаздывает. Как мне рассказали, однажды машинист на пять минут раньше отправился из Головановой Дачи в Туму, решив, что в здешних малолюдных местах ждать особенно некого. В конце пути, на станции Гуреево, машиниста догнало строгое предписание диспетчера вернуться в Куршу. Выяснилось, что на поезд не попали две древние старушки. Пришлось возвращаться. С тех пор никто не рискует и на минуту нарушить график.

Сначала дорога шла полем. К полотну вплотную подходила слабосильная рожь, забитая васильками и осотом. Потом показалась одинокая станция. Здесь наш тепловоз по запасной ветке сделал несложный маневр, и мы тронулись уже в другую, лесную сторону. Поезд вошел в зеленый туннель, который был настолько узок, что березовые и ольховые ветки, как встревоженные птицы, начали биться в окна. В редкие просветы проглядывали болота с небольшими островками, заросшими ромашками и кипреем. Иногда от дороги в чащу уходили осушительные каналы. Их переполняла тяжелая болотная вода. Глухие, первобытные какие-то места. Таких осталось немного в Мещере.

На остановке «14-й километр» из вагона посыпались отдыхающие. Здесь изобилие ягод и грибов. За какой-нибудь час можно без особых усилий набрать трехлитровую банку черники. Она в этих болотистых местах родится особенно крупной.

В пути мы познакомились с бывшей учительницей Полиной Ивановной Куропаткиной, крепкой еще женщиной лет шестидесяти пяти с добрым загорелым лицом. С тридцать шестого года ездит она по узкоколейке. Здешние места стали для нее родными: ведь сюда после педучилища она приехала еще девчонкой. Жила на Головановой Даче, работала в начальной школе, а позже перебралась в Куршу преподавать в средней школе русский язык.

– Учителей тогда не хватало,– рассказывала нам словоохотливая Полина Ивановна.– Директор вызвал меня и просит: «Возьми на себя и немецкий, специалиста ждуть нечего, никто в нашу глухомань не едет». Я даже руками всплеснула: «Какой из меня учитель немецкого, я буквы из их алфавита и те не все знаю».

Немецкий в училище нам преподавал старенький немец Штольц. Тихий такой был, на его уроках мы на голове ходили, а я в то время бедовая была девка. Не одолела я немецкий. А тут ребят учить! Только выхода никакого не было. Начала постигать язык по самоучителю. Приду, бывало, после уроков и засяду на всю ночь у керосиновой лампы – повторяю слова, запоминаю. Муж мне: «Чего это ты все шепчешь?» А я ему: «Майн либер...» Он вздохнет только, повернется на другой бок и уснет. Так сама немецкий и выучила, и с ребятами дело пошло. Методист из района приезжал, хвалил. Только у ребят произношение ему не понравилось. А какое тут может быть произношение, когда они и по-русски говорили чудно – цокали, чокали. Куршаки – народ своеобразный...

К нашему разговору присоединились и другие попутчики. Каждый предлагал свою версию, свой взгляд на историю Курши и ее обитателей, благо вопрос этот и по сей день изучен мало и окружен тайной. Дело в том, что по внешнему облику, обычаям, говору куршаки резко отличаются от всех остальных мешчеряков, потому-то всегда жили замкнуто, обособленно, возбуждая интерес этнографов и неприязнь соседей.

В качестве погоста – небольшой деревни с церковью– Курша упоминается в 1620–1630 годах. Но люди здесь появились значительно раньше. Их приход в эти места связывают с войнами, которые вел великий князь рязанский Олег с литовцами. Не без основания полагают, что куршаки – остатки той летописной литвы, что брали в полон рязанцы и выселяли в глухие, отдаленные места.

Несколько веков вся Мещера называла куршаков «литвой», отделяя от себя, отмежевываясь от этого странного низкорослого народца, сохранившего чуть ли не до наших дней седую старину: на подклеты поставленные высокие избы, в которых куршаки сидели словно птицы в скворечниках, волоковые оконца, обычай не мыться в бане «от пасхи до пасхи», ярко-красные браные поневы. Их носили только замужние женщины, а девушки вместо сарафанов и платьев надевали две рубашки – нижнюю, длинную, которую подпоясывали, и верхнюю, короткую.

Мужчины-куршаки, как правило, весь год оставались дома. Редко кто из них занимался отхожим промыслом. Бывало, жгли уголь, гнали деготь, но больше кормились худой землей и лесом. При всей своей бытовой отсталости куршаки поражали даже своих недоброжелателей гибким умом, сметкой: вырвавшись из болот, попав в места цивилизованные, они сразу шли в гору. Многие куршаки стали известными людьми – генералами, учеными, учителями...

В начале нынешнего века в районе Тумы побывал писатель Куприн. Нелегкая работа землемера заставила его пройти не один десяток верст по мешчерскому бездорожью, ночевать на кордонах и деревенских постоянных дворах. Был он и в Курше. Позже в одном из рассказов писатель так нарисовал картину здешних мест: «Вокруг нас столетний бор, где водятся медведи и откуда среди белого дня голодные волки забегают в окрестные села таскать зазевавшихся собачонок. Местное население говорит непонятным для нас певучим, цокающим и гокающим языком и смотрит на нас исподлобья, пристально, угрюмо и бесцеремонно». Отметил он и еще одну интересную для нас деталь: местный кулак скупал производимые в округе шкуры, холсты,

зерно, кнуты, лукошки и веретена.

...Не заметили, как доехали до Курши. Станция представляла собой просторную избу с большим палисадом, заросшим бузиной и горохом, переметнувшись сюда с ближнего огорода. Над вывеской «Ст. Курша» прилепились ласточкины гнезда. У входа на ржавом кронштейне висел чугунный колокол, затянутый паутиной. Рядом с домом в будке жил путевский пес Разбойник.

Метрах в пятидесяти от станции находилась лесопилка. Ее по макушку засыпали опилки и обрезки теса, но она продолжала работать: где-то внутри звенела циркулярная пила. На путях стояли готовые к отправке платформы с лесом. Именно лес был главным богатством Курши, не давая ей сойти на нет, поддерживая жизнь маленькой деревни.

Вместе с Полиной Ивановной дошли до ее дома, помогли донести купленный в Туме телевизор. Она рассказала, как вдвоем с мужем ведет свое хозяйство.

– Держим огород, корову, как без нее в наших местах, в магазине молока не купишь. Коровы у нас в Курше самостоятельные, ни один пастух не берет их пасти. Так сами в лес и уходят. Бывает, что и по неделе плутают, гибнут в осушительных каналах. В прошлом году у соседки Пани бык пропал. Отыскали его за Кирицами, а это от нас напрямую километров восемьдесят будет... Но корова коровой, а лес тоже нас кормит. Пойдешь на Жарское болото – там и клюква и брусника. Осенью грибы небывалые, хочешь соли, хочешь суши. С купанием у нас тут неважно, ни речки, ни озера, только пруд...

Вырыть для ребятишек пруд – это было инициативой Полины Ивановны, а сельсовет помог раздобыть бульдозер. Хороший получился пруд, но сейчас купаются в нем больше приезжие ребятишки. Уходит народ из Курши, предпочитая места не столь уединенные.

Вздыхая, поглядывают старики на то место, где стояла недавно Курша 2-я. Теперь это брошенная деревенька. За нее основательно взялся лес, и скоро, должно быть, зашумит там густой березняк.

Рядом с Куршей 2-й есть братская могила – свидетельство большого лесного пожара.

Это произошло 3 августа 1936 года. Лето было тогда на редкость знойное. Курша притихла и ждала пожара. День выдался ветреный, и огонь пронесся по лесу со страшным ревом. Скорость его была такова, что уйти из лесу в тот день мало кому удалось. (Я знаю, что такое лесной пожар. В памятном всем семьдесят втором году пришлось побывать в самом пекле. Один раз мы еле-еле успели уйти от огненного вала на бешено мчащейся автомашине.)

В тот день многие бросились в надежде на спасение к узкоколейке. Поезд, битком набитый людьми, отошел от станции, когда Курша вспыхнула, как спичечный коробок. Проехать удалось всего несколько километров – огонь перерезал дорогу. Все горело: лес по сторонам пути, шпалы, деревянные мостки. Загорелись дрова на платформах, и люди оказались на бегущем по рельсам костре. Спасти было негде...

В Курше уцелело считанное число людей. Пастух спасся в пруду, накрывшись мокрым одеялом, кто-то догадался лечь в картофельную борозду. Сгорело все, даже срубы в колодцах.

Было это в тридцать шестом, но и сейчас помнят о той трагедии люди. Когда мы ехали назад в Туму, подробности давнего пожара обсуждали две старушки, увещевая при этом тех, кто помоложе, быть в лесу осторожнее.

На «14-м километре» забрали ягодников. Они с шумом захватили вагоны, передавая друг другу тяжелые ведра с земляникой и черникой. Густо, аппетитно запахло лесным урожаем;

...В Туму мы возвращались вечером. Тихо, по-домашнему катил по Мещере маленький поезд, который до сих пор в народе ласково зовут «кукушкой». Вот бы только знать: много ли она себе накуковала?

Путешествие 2-е



Один писатель и философ как-то сказал: «Прекрасно дерево, уходящее своими корнями глубоко в землю». Исторические корни народа вы найдете в его освященных веками обычаях и традициях. Они могут быть связаны с землепашеством, встречей весны, устройством очага или способом добывать рыбу, и в лучших из них обязательно зеркально отразится коллективный, а потому мудрый опыт целых поколений. Все эти поверья, приметы, присказки, пословицы-наставления образуют прочное здание народной академии, призванной учить уму-разуму и молодого и старого.

Соблюдение традиций гарантировало в сложном и не всегда понятном мире надежного поводыря, умевшего вовремя подсказать, что и как делать, где подстелить соломки, чтобы не ушибиться на крутом повороте жизни. Обычай был универсален, его законы действовали широко, но он давал возможность пристрогать традицию к определенному месту, где «и народ пониже, и щипожиже».

Рожденные людьми обычаи и живут, как люди,— у каждого свой век. Сколько их порастеряно-позабыто, да так основательно, что сейчас не найдешь уже ни в одном поминальном списке! Мещере в этом смысле повезло особо. Укрытая лесами, огороженная реками, она дольше других держала «старину». Те же курные избы сохранились здесь вплоть до тридцатых годов. И это в краю, где изобилие леса и развитый плотничий промысел позволяли менять постройку через каждые 40–50 лет! В начале двадцатых годов один из исследователей Мещеры писал, что собственными глазами видел подсечное хозяйство, где топор, заступ и мотыга были главными орудиями и где стройный сосновый лес покрывал часто места, которые лет 40–45 назад обрабатывались под пашню, дававшую хлеб.

Неспроста мещерскую сторону называли этнографическим раем: ведь здесь что ни подворье, то поверье, что ни двор, то говор. Об этом в «Атласе Рязанского наместничества», составленном в 1794 году, сказано так: «...жители сей части (Мещеры.— В. П.) живут довольно чисто, строения везде хорошие, избы высокие. Дворы огораживают заборами, а огороды и хмельники жердями и что кои ходят наниматься в плотническую работу, от прочих в нравах и обычаях отменны, ибо живущие в сей части люди лишены будучи по болотному

и лесному положению сих мест с прочими сообщения не только во нравах по образу жизни и обычаях даже и в самом наречии с другими жителями сей губернии разны».

Самобытность края складывалась непросто: из смешения вер и народов, в разные эпохи приходивших в Мещеру, особенностей природы, возможности мещеряков, имевших отхожие промыслы, часто видеть во время долгих странствий чужеземную жизнь.

Как не растет на болоте пшеница, так и не всякий обычай находил здесь себе подходящую почву, но то, что оставалось,— закреплялось, как говаривали, «вко- ренную». Попробуй выкорчуй! «Обычай — не клетка, не переставишь»,— подтверждает эту истину услышанная в Мещере пословица.

Конечно, помимо привозного был и свой опыт, вынесенный из вечной борьбы с коварством природы и превратностями судьбы. А опыт этот давался нелегко. «Сколько нужно внимательности, а следовательно, и траты собственной мысли, примечая, например, цвет облаков в полдень в крещение, находить в этом связь с урожаем, который может определиться в августе, то есть через семь месяцев!.. Один уж этот пример... может показать, до какой степени крестьянин тратит много внимания на природу и землю и на все, что с ними связано»,— писал известный знаток деревенской жизни Глеб Успенский.

Мещера, надо сказать, предоставляла немало пищи для размышлений. Как прокормиться на худой песчаной земле? Как приручать гиблое болото? В какое время лучше драть лыко или резать лозу? Когда ждать лесного пожара и как от него уберечься? И мещеряк примечал, где лучше брать дерево для постройки избы, когда бывает лето сухим, а значит, пожарным, как торить невидимую постороннему тропу во мшарах, как уберечь колодезную воду от порчи. При этом рождался опыт, а с ним и поверья, легенды.

А лес — светлый березняк, хмурый ельник или строгий сосновый бор? Он без труда мог расшевелить самую ограниченную фантазию, производя на свет поэтичнейшие суеверия. Их в Мещере несчетное количество, одно невероятней другого.

Мещеряки, к примеру, считали, что семицветная радуга, встающая летом над лесом, дана для того, чтобы брать воду из моря, куда она опускается своими концами. По радуге вода поднимается в небо и проливается благодатным дождем.

В деревне Пекселы девушки, собравшись по весне на гумне, так кликали лето: «Лето, лето, вылазь из подклета, а ты, зима, иди туда, с сугробами высокими, с сосульками с морозными, с санями и подсанками, а ты, лето, иди сюда с сохой, с бороной, с кобылой вороной, лето теплое, хлебосольное!»

А сколько ходило по Мещере легенд о всяческих кладах, зарытых в таких местах, которые открыться могут только тому, кто знает заветное слово или в ночь на Ивана Купалу найдет цветок папоротника! Рассказывают, что около Большого Ардабьева есть непроходимое болото Мочилище, в которое подручные Стеньки Разина опустили лодку с золотом. Здесь же, в Большом Ардабьева, стоит каменная церковь, на ее месте была когда-то деревянная. Однажды под покровом ночи ее перенесли на себе «по обещанию» местные крестьяне и поставили в соседнем селе.

Как и везде, свято верили в «дурной глаз», от которого «и лес посыхает». Верили, что если под окном раздастся стук и никого не окажется, то это «замерки» (предупреждение) к покойнику. После такого стука в доме начинался суеверный переполох, кончавшийся спустя не одну неделю.

Как огня боялись моровых язв и поветрий, откупаясь от них страшным

откупом. В селе Ерахтур, узнав о приближении холеры, впрягали в соху самую красивую женщину. В длинной льняной рубашке, с распущенными волосами, она опахивала все село.

«Изобретались» и свои местные лекарства от разных болезней. Гатс, в селе Владычине от лихорадки пили кипяченое молоко с лягушкой. Лягушку сажали в молоко и для того, чтобы оно дольше оставалось холодным.

Дремучие мещерские леса издавна служили местом действия разных воровских шаек. В четырех километрах от села Рубецкого на берегу Оки есть Добрынин остров, а между деревней Сидоровой и селом Токаревом – Володина гора. В этих местах, сказывают, жили богатыри Добрыня и Володя. Они грабили проходившие по Оке купеческие суда, а иногда удали ради перебрасывались между собой топорами. Расстояние топоры пролетали немалое – пятнадцать верст.

Есть легенды «исторические». В деревне Гостилово, что стоит на берегу Великого озера, вам обязательно расскажут, что название этому населенному пункту дано в честь Петра 1, якобы гостившего здесь по дороге на Плещеево озеро. Вид на окрестности ему понравился, и он расположился в этих местах надолго. Обследовав Великое озеро, Петр нашел остров, где было много соколов, и назвал его Соколкой.

Зимой, засыпанная великими снегами, мещерская деревенька жила все-таки нескудно: готовилась к весне, что-нибудь мастерила и, конечно, гадала. На святки девушки снимали с насеста петуха, ставили перед ним тарелку с отборным зерном, другую – с ключевой водой, а рядом клали обручальное кольцо. Если петух зерно клюнет – богатой быть, воду попьет – муж будет пьяница, до кольца дотронется – замуж скоро выйти.

Даже в традиционные русские свадебные обряды привносили мещеряки свое – лесное, озерное, речное. В Кочемарах, одевая невесту для венца, не забывали обвязать ее талию бреднем. Считалось, что нечистая сила, как рыба, должна была в него обязательно попасться и не причинить никакого вреда молодым. Когда в Шостье для молодых строили дом, под углы сруба обязательно клали деньги – чтобы богато жили.

Рядом с суевериями, фантастикой уживались и хранились в памяти живые наблюдения, тонко подмечавшие связь явлений, причину и следствие: «Жар в печи долго держится – к морозу, соль сыреет – к ненастью». Когда хозяйка ставила в печь хлеб, кусочек оставшегося теста клали в миску с водой комнатной температуры. Сначала тесто не держалось на поверхности, но через некоторое время всплывало. Заметив это, хозяйка тотчас вынимала хлеб из печи – он готов. Так маленький кусочек теста заменял часы.

...Многое растерялось со временем, заслуженно, а то и незаслуженно забылось. Но бывает, сотрешь налет – и засияет, засверкает народная легенда, обычай, примета. И удивишься тогда: мудрости-то сколько, поэзии, таланта!

Зима – лето

У кромки Белого озера стоит замшелая деревенька. В полулю воду ее заливают по пояс и жители плавают друг к другу в гости на лодках, а чаще сидят по домам, воображая себя обитателями какого-нибудь морского острова, где хозяйничают приливы и отливы. Сравнение с морем и вообще «морские разговоры», как это ни кажется странным, в Мещере не редкость. Если мещеряку надо с чем-то сравнить величину леса или болота, он обязательно скажет: «Как море разлитое». Море и в песнях и в легендах, и

порой кажется – вот оно шумит за соседним леском...

Весной Вело-озеро действительно становится морем. Вода кругом сколько хватает глаз, и волна, бывает, такая накатит – почище балтийской.

Жители Белозерья всегда кормились от озера: ловили рыбу и торговали ею по окрестным селам, получая за отменного качества товар все что душе угодно. Со временем рыбацкий промысел как-то незаметно угас, и теперь на всю деревеньку остался лишь один «рыбопромышленник» – дедушка Гриша по фамилии Мальков.

Его большой приземистый дом встал поперек порядка, словно пробкой затыкая узкое горлышко единственной улицы. Два оконца неотрывно смотрят на озеро, остальные – кто куда. Летом на высокой изгороди сушатся сети, а во дворе, возле собачьей конуры, бывают разложены ивовые верши. Рядом с алюминиевым рукомошкой, укрепленным на врытом в землю столе, всегда полно рыбьей чешуи. Это место давно на заметке у деревенских котов, они столуются здесь днем и ночью, затевая шумные свары.

Почти от порога дома начинаются тощие грядки с морковью, укропом, луком и картошкой, идущими обычно на заправку ухи.

В доме у деда просторно – пять или шесть комнат, кухня, за которой устроена гостиная. В ней за большим столом потчуют путников.

Домашнее хозяйство ведет бабушка Нюра – маленькая старушка в застиранном переднике и синем платке в мелкий горошек. Обязанности у Мальковых без обиды распределены еще с молодой поры: дед Гриша ловит рыбу, а бабушка Нюра варит из нее уху. За долгие годы каждый дошел в своем занятии до совершенства, поэтому серьезных разногласий у них не возникает.

Еще по молодости он попал в артель рыбаков, промышленявшую по клепиковским озерам, заплатил по обычаю того времени первоначальный взнос – три рубля с полтиной, да так и остался на всю жизнь возле воды. Когда рыбы в озерах поубавилось, а артель распалась, дед Гриша перешел на службу в совхоз.

У него никогда не переводилась рыба, ее охотно брали в магазине. Бывало, наведывалось к деду побаловаться ядерной ухой и разное заезжее начальство.

Дед Гриша был рад каждому гостю, так что бабушка Нюра не успевала бегать в огород за укропом да стряпать уху. А готовила она ее замечательно! Рыба уваривалась особенным образом и оставалась абсолютно целой, будто только из озера. Навар выходил густым, но при этом такой родниковой прозрачности, что на дне ведерной кастрюли можно было отчетливо разглядеть каждый кружочек моркови. Кружки при этом лежали плотно, как пятаки в святом колодце. К ухе подавалась крупная отварная рыба, чаще всего лещ, размером с хороший противень.

Дед всегда начинал есть первым, ласково приговаривая: «Кушайте, ребятки, на здоровье. Кто рыбой кормится, тот умственный будет человек!» Он больше всего любил юшку, но и рыбкой не брезговал: мягкая, нежная, она как раз была по его зубам.

Дед Гриша оказался убежденным сторонником рыбного стола и мяса не ел совсем. Свое многолетнее пристрастие он подкреплял почерпнутыми из популярных телепрограмм сведениями о холестерине, жирных кислотах и фосфоре. Значение фосфора дед выделял особо. Обсасывая очередную рыбью косточку, он, бывало, начинал целую хвалебную оду фосфору, при этом с такой нежностью говорил о нем, словно это был не какой-то там химический элемент, а брат родной, которому дед обязан по гроб жизни. «В фосфоре-то

нашем дорогом,— торжественно вещал дед Гриша,— вся наша сила, ребятки. Будешь каждодневно его потреблять, станешь живучим, как рыба-линь. А это такая крепкая тварь, что если отрежешь ей голову ипустишь в таз — полдня будет плавать. Зимой возьми: в лед линь вмерзнет, уж, думаешь, конец ему, отплавался, ан нет — пригреет солнышко, и пошел он хвостом бить. Живуч, ребятки, одно слово...»

Вообще-то, лет семьдесят общаясь с рыбами, дед Гриша превратился в молчальника. Заставить открыть рот его могут лишь две темы — дела рыбацкие да судьба Белого озера. С каждым годом оно мелеет и оскудевает, чем сильно тревожит деда, наводя на невеселые раздумья.

Однажды, когда мы весной вновь постучались в знакомую калитку, нам никто не ответил, и только после третьего захода нехотя подала голос из конуры обленившаяся за зиму Найда. Потом откликнулся и хозяин. Открыли калитку и нашли деда прилаживающим деревянный флюгер на самом гребне двускатной крыши. Через полчаса, когда по приставной лесенке дед Гриша тяжело спустился к нам, раскрашенный петух уже весело смотрел куда-то на север.

Мы вошли в дом, сняли рюкзаки, сели на лавку и, как водится, вежливо поинтересовались здоровьем хозяина, а заодно и тем, к чему вдруг понадобился флюгер. Дед долго не отвечал, вдумчиво нюхая любимый мятный табачок, потом махнул рукой на стоявший рядом телевизор: «Все, ребятки, вышел он у меня из доверия, поэтому и петуха поставил...»

Выходило, что с этого дня дед Гриша решил сам наблюдать за погодой с целью ее предсказания, не полагаясь больше на гидрометеобюро. Из чулана он принес клеенчатую тетрадь, которая оказалась рукописным календарем, куда дед в свое время заносил наблюдения над природой и всякие приметы. Рядом с малоразборчивыми записями химическим карандашом были наклеены пожелтевшие вырезки из газет, сделаны рисунки. Среди лохматых страниц попадались то засушенный лист папоротника, то похожая на хлопок пушица, то журавлиное перо...

Это были самые настоящие фенологические святцы. В них следовало справляться о начале ледостава, лова рыбы, приметах, предвещавших богатый урожай или засуху. Календарь давал ответы на многие вопросы, которые ставила сама природа, редко сообразуясь с желаниями и надеждами мещеряка.

Мы долго листали пахнущую сухими травами тетрадь: вставало и садилось солнце, зиму одолевала весна, на смену землянике приходили грибы. Кое-что из этого удивительного круговорота я запомнил, хотя разве могла моя память вместить все то, что подметил и выведать у природы за целую жизнь старый рыбак!

Первые записи в календаре были сделаны дедом в марте-снеготое, когда в мещерских лесах начинают осыпаться семена сосновых шишек, а по речным откосам серебрятся вербы.

В марте наступал новый сельскохозяйственный год. Был и точно обозначенный день, от которого шел отсчет весенним приготовлениям,— Евдокия-плющиha. Недаром 14 марта в календаре было обведено красным карандашом. Где-то на черноземах говаривали так: «Пришли Евдокей — мужику затей: соху точить, борону чинить». В Мещере, где мужики сплошь и рядом занимались отхожим промыслом, все эти «затей» ложились в основном на женские плечи. Так что к Евдокии старались отделаться от других хлопот, отбелить холсты, сотканые за долгую зиму. Суровое полотно стелили на снег.

От промораживания и снеговой влаги оно умягчалось, становилось носким, белее цветом.

«На Евдокию снег – быть урожаю. Теплый ветер – мокрое лето. Ветер с севера – ожидай холодное лето», – записал наблюдательный дед.

30 марта окончательно рушился зимний путь. Дед прокомментировал: «Если была от тебя соседняя деревенька в версте, то теперь не доплыть и на бересте». Распутица, хлябь, бездорожье. На месяц-полтора обособливаются, отрезаются друг от друга весной многие мещерские деревни и села.

Там, где в календаре кончался март и начинался апрель, был нарисован лес, а над ним солнце. От него бежали во все стороны пунктирные лучи. Так было обозначено время, когда тают снега в борах и чернолесье. На полянах рассыпью появляются «веснушки» – пережившая зиму подснежная клюква. На вид темна и неаппетитна, а положишь в рот – тает!

На окраинах болот токуют глухари. Просевший снег хорошо хранит следы от их лап и перьев.

Страница с заложенным в нее пером напомнила о первом прилете журавлей. С этим событием связана надежная примета: если журавли тянутся на север – к теплу, а если повернут обратно, так это к холоду.

Когда появляются речные чайки, а в здешних местах, под Клепиками, они собираются тысячами, следует ждать ледохода. Теперь сильнее припекает солнце, журчат ручьи. Считалось, что снеговая вода обладает целебной силой. В старину в конце марта собирали снег с пригорков и поили снеговой водой недужных. На полях дед сделал приписку: «Пытал на себе...»

В апреле открывается настоящее весноводье. Где вчера был ручеек, там сегодня река, где река – там озеро. Иные деревни затопляет, да так, что под порогом – брод, на улице – переправа. Уж сколько хлопот причиняет мещеряку полая вода, а ей все равно рады: много воды, значит, будет много травы.

Вырезка из какого-то учебника сообщает, что первой зацветает в эту пору серая ольха, следом начинает пылить орешник, а потом уж приходит черед березы. В Древней Руси апрель называли «березозолом», значит, злым для березы. В это время шел сбор соковицы. И до сего дня плачут по весне мещерские березы...

Весна – время, когда появляются на свет долговязые рыжие лосята. Начинается долгожданный лов рыбы. Напротив записи об этом нарисовано много больших сетей.

В лесу можно найти первые сморчки, а чуть позже и строчки, которые хорошо после выварки жарить, перемешав с картошкой.

С приходом мая-травника весна буйно гуляет по Мещере. Теперь это царство зелени. Дышится свободно и легко, видится – далеко.

«15 мая, – записал дед Гриша, – соловьиный праздник». Только нет в Мещере голосистого соловья. Не любит он хмурого, темного бора. Зато есть черный дрозд, песня которого, пожалуй, мало в чем уступит соловьиной.

25 мая ожидают мещеряки с тревогой. Если утро в красном кафтане, быть «пожарному» лету, гореть лесам и торфяникам. Памятно деду Грише 3 августа 1936 года. Тогда сильный пожар растерзал леса, выкипала вода в озерах, велики были человеческие жертвы. В дедовом календаре особо помечен и 1972-й «пожарный» год.

В мае есть «праздник» даже у комаров – Лукерья-комарница. От комариного нашествия нет спасения до августа, когда спадет жара и потянет осенней прохладой.

Приход лета приметными вешками отмечают грибы-колосовики:

подберезовики, лисички, белые. Урожай небогатый, но желанный. Коротка грибная «увертюра», а следом пошли лесные ягоды. Сначала заалеет земляника, а потом подойдет черед боровой черники, малины, костяники.

«Июль – зацвела липа». Когда-то в Мещере липы было несравненно больше, чем сейчас. Этот месяц в Древней Руси назывался «липец». Липа была полезным деревом: пчелы собирали мед, люди брали от нее мягкую, податливую древесину, незаменимую в плотницком деле, и лыко, из которого плели лапти, туеса, рогожи. Правда, лыко драли не в июле, а в мае, когда от корней поднимается сок, а кора сидит слабо. Содранное лыко отмачивали, очищая от верхней части коры, и сушили. Всего на пару лаптей шли три молоденьких деревца, а снашивалась такая обувка быстро. Широко был развит в Мещере и рогожный промысел. И снова дедова приписка: «Свели липу – худое дело».

6 июля полагалось собирать целебные травы и корни. Знающие люди отыскивали их по лесам и болотам великое множество, а потом сушили где-нибудь на сеновале, подальше от жестокого июльского солнца.

Календарь сообщал, что 12 июля возвращались из отхода мужики – надо было накосить на всю зиму травы, управиться с уборкой. А осенью – снова на заработки.

На медовый спас пасечники выламывали из ульев первые соты. С медом провожали красное лето, а пятью днями позже – 19 августа – праздновали второй спас – яблочный, хотя яблок в Мещере, как известно, негусто.

Улетают в жаркие страны ласточки. В старину полагали, что они ложатся на дно колодцев. Касатки часто устраивают гнезда в колодезных срубках. Ползут за водой, а ласточки выпархивают из колодца. В августе птиц не видно, значит, «легли на дно»...

В сентябре отправляются в дальний путь и другие птицы. Выстраиваются в косой ряд утки, поодиночке уходят на юг кукушки, зимородки, все чаще виден в посеревшем небе журавлиный клин, или, как говорят в Мещере, «ключ».

Начинается грибная лихорадка, которой захвачены и стар и мал. Грибной дух густо бродит в эту пору над Мещерой: считай, у каждого во дворе грибоварня!

Те, кто занимается плетением корзин, заготавливают в октябре лозу. В это же время, как правило, красили ольховой и березовой корой холсты. Краска ложилась ровно и долго не выцветала.

Все короче дни. На реках и озерах появляется шуга. Дед записывает: «Шугоход». А там и первый ледок. «Весенний лед толст, да прост, осенний тонок, да цепок».

7 декабря мужики уезжали в извоз.

Накрывает Мещеру снегом. Не видно теперь ни маленьких озер, ни болот. Только снега как выбеленные холсты.

В декабре тетерева пасутся на березах, склевывают сережки. Не брезгают и можжевелевой ягодой. Глухарь отправляется в сосновый бор – есть зеленую хвою.

В ночь на Новый год в старину ставили к дверям овечьего хлева двурогие вилы, чтобы овцы приносили приплод парами. К дверям коровьего хлева – деревянную широкую лопату, чтобы телята были широкими, плотными и крепкими.

В конце января, отмечает календарь, начинали рубить на озерах отдушины, чтобы напитать кислородом воду, не дать погибнуть рыбе.

В феврале волчьи пары устраивали логово в своих излюбленных местах –

на дальних болотах.

Замечено, что лес зимой шумит к оттепели. Длинные сухие еловые веточки как хороший барометр: к метели сгибаются, а к спокойной погоде распрямляются.

Закончится февраль-бокогрей, а там и снова – весна...

...Рассматривание клеенчатой тетради да разговоры затянулись за полночь. Укладываясь спать, решили утром, часов в шесть, отправиться на Вело-озеро за карасями, чтобы к обеду было что жарить бабушке Нюре.

Не успели забыться коротким сном, как услышали скрип половиц, с трудом сдерживаемое покашливание. Старый рыбак начал собираться. Было еще темно, поэтому мы дружно заворчали: «Куда это ты в такую рань! Поспи, еще шести нет. А разбудить есть кому – радио включили».

Хозяин отозвался уже из сеней: «Вы спите, ребятки, спите. Мое дело стариковское, раннее, Я по радио вашему вставать не приучен. Спите, коли утра не жалко». И ушел, тихо затворив за собой калитку.

Дед никому не хотел доверить встречу своих последних рассветов...

Костер на «горе»

Кадом – один из редких поселков, которые можно охватить глазом с высоты, не прибегая к услугам Аэрофлота. Достаточно подняться на один из четырех холмов, пунктиром проходящих через Кадом с заката на восход. Их оставил после себя древний ледник. Они так и называются – останцы.

Изогнутые подковой холмы некогда составляли одно целое и тянулись почти на километр, но за тысячелетия неумолимой работы река Мокша разрежала останец, как праздничный пирог, на четыре неравные части. Так образовались эти холмы: Вознесенский, Средний и Кокуй – на правом берегу Мокши и Преображенский – на левом.

По деревянному настилу мы поднялись на самый высокий, двадцатиметровый Вознесенский холм, который кадомчане не без гордости величают «горой». Одна из ее сторон круто опускается на просторную торговую площадь в центре поселка. Противоположная обращена к небольшому озерцу, знаменитому неистощимым изобилием домашних уток.

Вершина Вознесенской «горы» будто срезана гигантским ножом. Ровная площадка в полтора гектара дает простор наблюдателю: обойдешь холм – и словно по всему Кадому прогуляешься.

С высоты нам хорошо было видно, как от подножия «горы» к излучине Мокши плотно, одна к одной, шли крытые железом, а то и дранью крыши, похожие сверху на чешуйки еловой шишки. Из общего строя выбивались только коренастая колокольня соборной церкви, темный шатер еще одного храма да пожарная каланча. Отсюда оком был раскрашен черной тушью лесов, мерцающей охрой спелой ржи, густым ультрамарином неба.

На севере мы увидели старый Кадом, теперь небольшую деревню. Правее, на высоком берегу Мокши, открыто лежало село Пургасово, названное в честь воинственного мордовского князя.

По широкой тропинке прошли в западную часть холма. Прямо под нами у кромки пересыхающего озерца стояли в печальном карауле огромные ветлы. Озеро имеет странное название Кандадь. О его этимологии мы так ничего и не узнали бы, не встретить одиноко гулявшую в ту пору по «горе» старушку. Она охотно взялась истолковать загадочное слово. По ее предположению выходило, что Вознесенский холм давным-давно насыпали неведомые узники, закованные в кандалы. Потому, мол, и озеро зовется Кандалем.

Объяснение слишком незатейливо, чтобы походить на правду, и мы решили разыскать кого-нибудь из знатоков кадомского края, справиться у него об озере, заодно и о других достопримечательностях.

Нам посоветовали сходить к Марии Ивановне Панферовой, местному краеведу. Она жила на улице, названной, как после оказалось, не без участия Марии Ивановны именем ее земляка, председателя Кадомского ревкома Василия Шестакова. Скоро нашли мы и улицу, и старый дом, закрытый разросшейся рябиной, и скрипучую калитку, которая представилась нам калиткой в саму историю.

Мария Ивановна встретила нежданных гостей приветливо, пригласила в горницу, где будто нас дожидался горячий самовар. Хозяйка разлила по чашкам заварку, добавила кипятку, положила перед собой аккуратно исписанные тетрадки в косую линейку и только после этого неторопливо начала рассказ.

– Кандаль – слово мордовское. В стародавние времена мордва была хозяйкой этих мест. От нее осталось и название нашего поселка. «Кадом», «кадома», «ка- тома», что в переводе означает «потерянная земля». Почему так называли, теперь узнать не у кого. Есть только легенды, с которых спрос невелик. Но рассказать их, думаю, надо, потому что если они и неверны, то красиво выдуманы. Одна из легенд приписывает основание Кадома скифу царского происхождения. Был он родом с верховьев Танаиса – Дона. Звали того мудреца Анахарсисом. Вернувшись на родину из Греции, он задумал построить город. Построил и назвал его Кадмом в честь своего друга – финикийца Кадма, изобретателя букв. Кстати, у Кадма была жена Гармония.

По другой легенде выходит, что основательницей города следует считать русскую девушку Вассу. А дело было, рассказывают, так. Сбежала Васса из мордовско

го плена. Преследовать ее пустился хозяйский сын. Бегал он быстро – вот-вот нагонит. Добежала Васса до левого берега Мокши и бросилась в реку, чтобы утопить себя, но чудом спаслась и вышла на правом берегу. Очнувшись, пошла по дремучему лесу и поднялась на высокий холм, как раз на тот, который сейчас называют Вознесенской «горой». Там Васса набрала орехов и наломала вкусного, мясистого дягиля. Потом сыскала подходящее укрытие. Наступившие холода заставили ее устроить жилище, сделав его «как дом».

Васса много лет провела в отшельничестве. Жители окрестных селений приходили к ней для исцеления недугов или за советом, потому что Васса обладала даром предвидения. В пещере, в которой девушка жила и зимой и летом, не было ни печки, ни очага, но она всегда была теплой, как дом. Людям понравилось это место, и они начали селиться на холме и вокруг него. Новое поселение называли «Как дом».

Теперь от легенд давайте перейдем к документам. Первое упоминание о Кадоме находим в Никоновской летописи под 1209 годом, когда произошло сражение между рязанцами и волжскими болгарами. Но конечно, здесь жили люди задолго до этого, а старый Кадом располагался несколько выше по течению. Теперь там деревня Старый Кадом. На новое место наш поселок переехал только в XV веке...

Мария Ивановна отхлебнула чайку из чашки и продолжала :

– Через Кадом проходил важный торговый путь со Средней Волги в Рязань, Москву. Везли мед, воск, меха, кожи, сало, скот, соколов и кречетов. Сюда захаживали половцы из южных степей. Здесь встречались и русский, и мордвин, и волжский болгарин.

В 1239 году Кадом разорили татары, а немного позже хан Бахмет захватил все здешние земли. Татары осели надолго. Во времена Василия Темного Кадом отдали в прокормление мурзе Янглыч Бедишеву, чтоб служил Москве верой и правдой.

Так городок на Мокше стал опорой сначала Рязанского, а потом и Московского княжеств. На холме, где вы только что были, устроили деревянную крепость с башнями и тайником. О том, что в Кадоме была крепость, говорят и документы. В 1681 году царь Федор Алексеевич послал грамоту кадомскому воеводе Скрипицыну: «...и тому подьячему взять из Кадома стрель

цов и пушкарей». Еще раньше князь Волконский, объезжавший с ревизией города-крепости, писал царю: «А в Кадоме-городе, государь, в твоей государственной казне 8 пушек затинных, девятая полковая, два пуда свинцу, да к пушкам – тысяча ядер. Да на кружечном дворе 15 рублей и 10 ведер вина». Были в крепости и приказная изба с застенком, и пыточная яма – все по чину того времени...

Известно, что участвовали кадомчане в восстании под водительством Степана Разина. В пределах Шацкого уезда действовал отряд одного из атаманов Разина – Михаила Харитонова. Часть своих людей он отправил на Темников и Кадом. Здесь уже были отряды восставших. Об этом сказано даже во «Всемирной истории», изданной в 1960 году. Можете посмотреть...

Мы открыли пятый том и прочитали: «Дворяне Шацкого уезда жаловались, что они не могут пройти к царским воеводам «от шатости изменников-мужиков». В районе Кадома такие же «изменники-мужики» устроили засеку для того, чтобы задержать царские войска».

– Удалось нам разыскать, – продолжала Мария Ивановна, – любопытные сведения о кадомчанине-дипломате. В 1646 году было снаряжено посольство в Швецию – «стекольное» государство, как тогда его называли на Руси. Наибольшим послом был воевода шацкий Григорий Гаврилович Пушкин, а вот во вторых послах – наместник кадомский Богдан Минич Дубровский. Посольских людей собралось немало, что-то около сотни человек. Погрузились на 250 подвод и поздней зимой выехали из первопрестольной. Только 9 мая сели на корабли. В Стокгольме русских послов встречали с почестями, гремели на набережной пушки. Стали ждать приема у королевы. У наших послов на этот счет имелась инструкция: «Быть у стола королевы не иначе, как в отсутствии всех других послов и гонцов... держать себя в речи остерегательно и вежливо... А дворянам и посольским людям накрепко приказать сидеть за столом чинно и не упиваться и слов дурных между собой не говорить». 16 июня послов наконец пригласили к королеве. Ей вручили дорогие подарки. Кристина справилась, как водится, о здоровье царя, но сделала это сидя. Послы, памятуя о том, что надо «зорко смотреть, какова будет честь», попросили королеву встать. Пришлось Кристине принимать послов стоя...

В 1779 году Кадом стал уездным городом Тамбовского наместничества и получил свой герб. В верхней его части были нарисованы лазоревый улей и три пчелы, в нижней – на золотом поле два накрест лежащих цепа – символ хлебного изобилия. Хлеба Кадом давал действительно немало. Отборное зерно отвозили на рынки Нижнего Новгорода. Герб напоминал, что кадомская сторона славилась белым и зеленым медом. Существовали лесные уголья с деревьями, которые, кстати, охранялись законом, где устраивались ульи. Эти места называли «ухожаями», в них уходили для бортного промысла.

Коли разговор у нас сегодня о седой старине, добавлю, что при Иване Грозном Кадом стал местом ссылки опальных из Новгорода, Ярославля, Костромы. Много чего от них перешло к кадомчанам в обычай, укоренилось на нашей земле...

У Марии Ивановны мы засиделись допоздна. Когда вышли из дома, уже зажглись уличные фонари. С Мокши потянуло свежестью, а с полей – легким духом близкой осени. Кадом оцепенело замер в уютных сумерках. На открытой танцевальной веранде что-то громыхало и скрежетало, зазывая молодежь. А мы шли по сиреневой от вечернего света улице, мимо засыпающих домиков и все говорили о финикийце Кадме и его жене Гармонии...

...Кадом не Москва, трудовой день здесь начинается несуетно. Сначала зычно прокричат петухи на заречной стороне, заскрипит под молоковозом понтонный мост через Мокшу, сыто замычит корова на лугу за подолом, испуганно выстрелит чей-то мотоцикл, тихо проедет по песчаной обочине телега, с колхозного рынка донесется призывное: «Я-блоч-ки-и!» И неторопливо, степенно пойдет потом, поедет народ : кто в магазин, кто на работу.

Утро в Кадоме удобно наблюдать со скамейки у ограды соборной церкви, откуда видна почти вся торговая площадь с голубой палаткой приемщицы стеклянной посуды, теской фабричной проходной, магазином, где продают прекрасный «загорелый» хлеб и пряники, дорогой на рынок и в заречный Кадом. Поселок небольшой, редко кто эту площадь минует...

Было уже около восьми, когда мы устроились на широкой скамейке. Мимо, о чем-то переговариваясь, проехали на велосипедах столяр с бондарем. Узнать их

было нетрудно по инструменту. Они, как все настоящие мастера, самые ходовые орудия своего ремесла везли с собой, приторочив к багажнику: один – рубанок и стамески, другой – шмыгу и набой. Пошли к утренней смене фабричные вышивальщицы. У крытой брезентом машины собрались лесорубы. Виновато потянулись на заречную сторону прозевавшие зорю рыбаки-пенсионеры. Всех ждали привычные дела, освященные вековым обычаем, который потому и крепок, что мудро согласуется с природными наклонностями мещерской окраины.

Десятки ремесел прижились когда-то в старом Кадоме. Были и сапожники, и медники, и кузнецы, и белошвейки. Через Кадом проходили обозы из Среднего Поволжья в Москву. В городе они делали дневку. К услугам проезжих открывались трактиры и постоялые дворы. По этой причине многие кадомчане сделались лоточниками и торговцами.

Гнали в Кадоме деготь, драли по перелескам лыко и корье, которые отправлялись в бедные лесом степные губернии. Была в городе и своя судоверфь. Там строили деревянные барки – «мокшаны» и прочие речные посудины.

Выделывали кадомчане солонину. Она высоко ценилась своим первоклассным засолом. Отправляли ее в Москву, куда везли также отборные дрова и воск на свечи.

Особый «клан» составляли рыбаки. Богатые рыболовные угодья на реке Мокше и пойменных озерах ежегодно продавались с торгов.

Большую славу добыли Кадому плотгоны. Смелые до отчаянности, они и в беспокойную полую воду, и даже в межень гнали лес по Мокше, Оке, матушке-Волге в Казань и Самару. Не смолкал в окрестных лесах перестук топоров.

Без задержки шел на продажу ка- домский лес – «лес хоромный и дровяной».

Много воды утекло с тех пор в Мокше. Исчезли за ненадобностью плотогоны, а вот лесорубов и сейчас встретишь в Кадоме. Есть свое лесничество и вполне современный деревообделочный комбинат, созданный на месте судоверфи. Делают на нем вещи нужные: кроватные спинки, разделочные доски, топорища, бочки, вяжут оконные рамы.

Уважаема в поселке и профессия мастерицы-вышивальщицы. В 1926 году была организована швейная артель «Пробуждение». Позже она переросла в фабрику, где машинной и ручной вышивкой украшают кофты, блузки, платья, делают узорные салфетки, полотенца, скатерти. Лучшие образцы бывали даже на международных выставках. В 1976 году художники фабрики заново открыли старинную ручную вышивку. В Россию она попала из Италии под именем венецианской. Узор тонок и плетется при помощи обыкновенной иглы, как паутина, из одной шелковой нити. Работа кропотливая, для терпеливых. За смену мастерица едва успевает закрыть узором два небольших «оконца» в полотне. Но время идет, и через неделю-две рождается настоящее кружевное пологие. Нигде больше не делают подобной вышивки.

...Между тем на нашу скамейку подсел древний дедушка. Пришел к заутрене, да соблазнился беседой со свежим человеком. Сначала разговор зашел о предметах отдаленных, но скоро перескочил на дела сугубо местные. Сокрушался дед, что среди множества кадомских мастеров нет стоящего художника-ликописца:

– Церква от лампад вся закоптилась, а поновить стенное письмо некому. Сам батюшка на леса полез...

Из любопытства заглянули в церковь. На полу лежали приготовленные для возведения новых лесов доски, пахло краской и ладаном. Реставрация была в разгаре. Кто-то, трудно различимый в церковном полумраке, отмывал потемневшие стены, а на том месте, где уже подсохло, клал новую роспись. Работа шла старательная, только художество вместо возвышенного выходило простецким, рыночным, и строгий по канону Спаситель смахивал на Стеньку Разина. Своей очереди дожидалась стена, где помещалась огромная копия известной картины Иванова «Явление Христа народу».

Походили, посмотрели, посочувствовали старику. Его, огорченного, расстроенного, взялись проводить домой. Жил он недалеко от церкви в просторной избе с большим двором и палисадом, возле которого лежала перевернутая вверх дном и заботливо укрытая куском толя деревянная лодка-самоделка. Поинтересовались, зачем деду такое ухоженное судно.

– Для полой воды держу. Она у нас весной, как разбухнет Мокша, к дверям подходит. Нам, кадомским, без лодки никак нельзя. Раньше-то ее в приданое вкли- чали. Оно и теперь лодку молодым справляют: будет богатая вода, что тогда делать?

Мокша – река с норовом, хотя посмотришь на нее и не скажешь, что есть у нее в характере сила и непокорство : неширокая в межень, с пологими большей частью берегами, заросшими меланхолическим ивняком. Река проявляет себя весной, раздается вширь на три-четыре километра, затопляя не только малые деревни, но и сам Кадом. В большие разливы жители плавают между домами на лодках. Рассказывают, что после спада воды некоторые находили в своих печах заплывших туда сомов. По этому поводу существует поговорка: «Кадом- цы в печи сома поймали», и зовут их за это

сомятни- ками.

Велико бывает половодье. До революции у одного купца дом стоял в центре Кадома, так к нему весной подходили барки за товаром. Особенно сильными считают разливы 1926 и 1963 годов. У Марии Ивановны Панферовой мы видели фотографию: она причаливает на лодке к дому, а он как-никак километрах в полутора от Мокши.

Поздней весной, входя в привычное русло, река оставляет в Кадоме свои «останцы» – Кандадь, Писцу, Спасское, небольшие озера, летом сильно мелеющие и годные разве что для домашней птицы да ребятишек. Те ловят в озерах ротанов и катаются на плотках, с завидным упорством продираясь каждый раз сквозь густые заросли кубышки. Недаром были их прадеды знаменитыми плотогонками!

Чувствительнее всего достается от весенней Мокши заречному Кадому – той части поселка, что лежит на левобережье. Может, поэтому в Заречье нет такой основательности в постройках и планировке, как в центре поселка. Улицы здесь больше не на городской, а на сельский манер – кривые, выведенные на авось, с подвохом. Незнающий рискует заблудиться, очутиться в тупике.

Дома тянутся высоко, чтобы не достал разлив, и стоят часто по-северному – торцом к улице. Почти у каждого дома устроено что-то вроде завалинки: в одно, а то и в три больших бревна. Цель преследуется двойная : есть где посудачить с соседями и материал в случае непредвиденного ремонта под рукой.

Перед окнами непременно палисадник с березой или липой, а то и редким сейчас кленом. Нет-нет да и зажгутся перед иным окном красные огни рябины.

В Кадоме богатые для мещерской стороны сады. Их стерегут поставленные на высокие шесты пугала.

В будний день на любой заречной улице безлюдье. Сцепятся два молоденьких петушка, взвизгнув, вынырнут из подворотни розовые поросята – и снова тишина. Только старушки печально смотрят из окон на догорающие дни. Улица оживляется ближе к вечеру...

В старину кадомская улица жила по своим, отличным от нынешних, законам. Сама выбирала себе старост, выходила на торжище или на площадь, куда собирался целый город судить и думать. Были на улице свои грамотеи, свои красавицы, свахи и знахарки. И обязательно существовал свой уличный праздник с весельем, брагой, винопийством и пирогами. Устраивались чинные хороводы–«улица не двор – всем простор». Ребятишки играли в городки или чурки. Пеклись обязательные пироги с мокшанской рыбкой. Эти праздники ушли, а на смену хороводу пожаловали кадрили, разудалая гармошка с припевками и озорными частушками, семиструнная гитара.

Кадомчане всегда слыли забияками. Зимой на Мокше устраивались кулачные бои – обычай, занесенный, по-видимому, сосланными когда-то сюда новгородцами. Городская сторона билась с заречной. Захотят свести счеты, и пустячный повод вызывает драку. А лишь вышла обиженная улица стенкой, глядишь – идет на нее другая. Лежачего не били, но страсти кипели так, что охлаждать их приходилось ледяной водой из бочек, подвозимых для такого случая городской пожарной командой. На кулачных боях подерутся, выместят накопившее на сердце, а на праздник помирятся, «размоют» руки и нагуляются.

Праздники кадомчане всегда любили – с громадными кострами, пальбой из

пушек, купанием в Мокше. В старину особенно торжественно отмечался приход весны. Пекли «жаворонков», водили хороводы, а вечером на Вознесенской «горе» разводили огромный, в полнеба, костер. Очевидцы рассказывали, что сверху было хорошо видно, как люди с зажженными смоляными факелами плыли в лодках к холму из всех окрестных деревень.

...Вечером, когда солнце покатилося с Вознесенской «горы», мы засобирались в дорогу. Уложили рюкзаки и стали ждать автобус. Он должен был захватить нас по пути. Просидели недолго, водитель торопился, так что скоро мы катили по центральной кадомской улице мимо ожившей танцевальной веранды, давно закрытого магазина, пожарной каланчи. Впереди тяжело темнела Вознесенская «гора». И вдруг на самой ее вершине полыхнул легкий костерок. Огонь сначала угас, но через мгновение снова стал набирать силу.

– Ребятишки балуются,– сказал кто-то в автобусе. А пожарный, дежуривший на каланче, погрозил в темноту пальцем...

Маэстро

В глухом углу Мещеры, среди пойменных лугов, на крутом взгорке стоит большое село Гремячий Ключ. Что и говорить, название у него приметное, хотя в округе не найдешь и маленького родничка. Откуда же тогда оно?

Совхозный конюх, с которым мы сообща пытались оседлать норовистую здешнюю топониимику, только руками развел: «Видно, перевелись тут гремячие ключи. Зато завелись музыкальные. Можно теперь и село по-другому называть: Скрипичный Ключ».

В подтверждение его слов на соседней улице, заглушая упрямые крики петухов, запели трубы.

У свежей поленицы на только что напиленных березовых чурбачках расселись юные музыканты, собравшиеся на репетицию из окрестных деревень. Стали подходить искушенные слушатели: уже известный нам совхозный конюх, деревенская ребятня с велосипедами и самокатами; покуривая папироску, присел на траву весь израненный на прошедшей войне пенсионер дядя Гриша; прибежал всеобщий любимец кудлатый пес Тимофей.

Ребята вглядывались в разложенные на земле тетрадки, боясь пропустить какую-нибудь ноту. Ошибиться действительно было никак нельзя, потому что руководитель оркестра Семен Андреевич Панюшин очень уж не любит, когда фальшивят.

...Доморощенными музыкантами на селе не удивишь, поэтому, когда пятиклассник Сеня Панюшин попросил отца купить ему гармонию, ее купили, нисколько не сомневаясь, что инструмент нужен так, «для баловства». Но, освоив гармошку и успешно сыграв на ней не на одной деревенской свадьбе, Семен попросил баян, на котором уже играл не на слух, а по нотам – дело для деревни Степановки небывалое. Девчата не отходили от панюшинского дома, ребята завидовали, а те, кто постарше, приглашали Семена «с музыкой» на свои праздники. И даже когда в соседнем селе Гремячий Ключ появился первый патефон с тремя трофейными пластинками, то и он не смог составить Панюшину конкуренцию. И когда шли не к патефону, а к Семену, объясняли так: «У него ж репертуар!»

Сейчас Семен Андреевич признает, что репертуар был тогда уж и не ахти какой, но в тяжелые послевоенные годы так была велика тяга к живой музыке и человеческому таланту, что баяниста брали нарасхват. Особенно уважали его солдаты, вдовы: тосковать под баян было легче...

Была у Семена Панюшина и еще одна страсть – математика. После школы он подал заявление в заочный политехнический. Закончил его и вместе с дипломом инженера-строителя получил направление в Пермскую область. Карьера строителя для Панюшина скоро закончилась, так и не успев начаться: пригласили в аспирантуру. Но и с ней ничего путного не вышло – не то... Долго искал Семен Андреевич свое дело, пока не понял, что оно было совсем рядом. Он стал воспитателем музыки в Азеевском детском доме. Нет, я не ошибся, именно так была означена в штатном расписании его должность. Хотя думаю, что ошибка здесь все-таки была. Надо бы, пожалуй, по-другому: воспитатель музыкой.

В соседнем с Гремячим Ключом большом татарском селе Азееве детский дом открыли несколько лет спустя после войны. В крытых брезентом машинах привезли однажды около сотни ребятишек. На них, одинаково одетых, стриженных, высыпало смотреть все село. Были и любопытные, но больше – сочувствующих. Совали детдомовцам помидоры и вареные картофелины, куски редкого тогда белого хлеба: «Худые какие, оголодали...»

Вечером Семен Андреевич пришел в детский дом с баяном. Его окружила соскучившаяся по всему человеческому ребячье и долго не отпускала, заказывая то «Землянку», то «Синий платочек», то «Катюшу».

Так Панюшин стал преподавать в детдоме музыку. Он тогда уже «самоходом» выучился играть на многих инструментах. Но оказалось, что играть самому и учить других – вещи разные. С его уроков поначалу сбегали, как давали тягу и из детдома. Привезут мальчика, а он побудет день-два – и в побег. Ищи его тогда по всей Мещере. Измотавшийся вконец директор смотрел на Панюшина как на последнюю надежду: «Увлеки, Андреич. Как хочешь, а увлеку...»

И Панюшин увлекал. Вечерами он садился на скамеечку у теплой чугунной печи и играл на баяне своего любимого Баха. Он и сейчас каждому деревенскому мальчишке, пришедшему к нему в музыкальную школу, первым делом играет бессмертные фуги, чтобы, как он говорит, сразу дать почувствовать, какая сила таится в звуке. Но тогда у него не было такого великолепного аккордеонированного баяна. Был старенький, с пожелтевшими кнопками и заплатанными мехами инструмент. Под треск березовых дров в печи Панюшин мужественно брал нелегкие аккорды, поражая детдомовцев неведомой, неземной музыкой.

Бах все-таки выручил. Ребята убегать перестали, и Семен Андреевич решил организовать свой духовой оркестр. В него записалась половина детдома. Желающих было еще больше, но на всех не хватало инструментов.

В детдоме началась «духовая эпидемия». После уроков в опустевших классах закрывались оркестранты – гонять медные гаммы, от которых звенели стекла и осыпалась штукатурка. Азеево тогда притихло, терпеливо ожидая, что из всей этой музыкальной затеи получится. А слава оркестра крепла. Его приглашали в район на концерты, вручали дипломы.

В ту пору курили многие, и отучить пацанов от этой вредной привычки никому не удавалось. Лекции и беседы результата не имели. Тогда Панюшин пошел на хитрость. Курильщиков он выявлял безошибочно, проверяя у тромбонистов и трубачей блестящие никелем мундштуки – у любителей махорки они покрывались тонким налетом. Суд был скор и предельно строг: провинившегося на три дня отлучали от оркестра. Крутая мера возымела действие.

Позже, поступив на музыкально-педагогическое отделение Московского

заочного пединститута, Семен Андреевич на свой страх и риск решил открыть в Азе-

еве филиал детской музыкальной школы. Ему выделили обветшалое здание бывшего сельпо. На свои кровные Панюшин купил кое-какую мебель, отмыл полы, подкрасил окна, а ночами взялся рисовать схемы и ноты, чтобы в новом учебном году позвать в свою школу пятьдесят деревенских ребят. Совершенно бескорыстно он начал учить их музыке.

Попадались одаренные ребята, такие, как Борис Соболев, не изменивший и после школы любви к музыке и ставший, на радость Панюшину, военным дирижером. Но и обыкновенных ребяташек Семен Андреевич не обходил вниманием. Он помнит братьев Батовых, которых отец долго не пускал к нему в школу, считая, что «музыка – дело недоходное». Ребятишки мечтали о своей собственной гармошке с блестящими клавишами-пуговками, и Панюшин съездил в Рязань, где купил приличный инструмент. С него братья сдували пылинки, установив поочередное «дежурство по баяну».

Незаметно, исподволь заиграло, запело недавно молчаливое село Азеево, а потом и Гремячий Ключ, и Нар-ма. Все, даже самые безнадежные, сорванцы в округе проходили школу Панюшина, под конец учебы преуспевая если не в нотной, то, по крайней мере, в грамоте жизни...

Ребятам отдали гремяченский Дом культуры, а в нарминской школе выделили специальный класс. Занимающихся было уже больше ста, и Панюшин организовал еще один оркестр – народных инструментов. Вместе с тетрадками и дневниками ребятишки стали приносить домой домбры и балалайки. Трубы Панюшин на дом не выдавал: боялся гнева соседей своих музыкантов.

Теперь Семен Андреевич жил мечтами об опере, пусть небольшой, пусть детской, но с партитурой, декорациями, славой, в конце концов. Подходящая опера вскоре нашлась – «Машенька и медведь» Красева, немудрящее, но вдохновившее всю деревенскую ребятню действо. Сельским миром шили костюмы, доставая из потаенных углов и сундуков отложенные «на светлый день» отрезы. Местные художники – совхозный пастух и завклубом – нарисовали декорации.

В день премьеры в Доме культуры яблоку негде было упасть. Люди стояли в проходах тихо, торжественно. Давали оперу. Семен Андреевич был в этот вечер особенно взволнован. Сбылась его мечта, и он уже думал о новом – о детском симфоническом оркестре. Директор совхоза, вдохновленный премьерой, пообещал купить скрипки и виолончели.

Без духового оркестра не обходилось ни одно совхозное торжество: и когда вручали грамоты за уборку, и когда встречали молодоженов или регистрировали в сельсовете первенца. И в самый последний путь провожает гремяченцев их оркестр...

Поздно вечером, уезжая из Гремячего Ключа, мы заглянули в новый клуб. Занималась музыкальная школа. Разгоряченный Панюшин бегал от ученика к ученику, торопливо объяснял что-то, поправлял. Маленький, всклокоченный, в «музыкальной» рубашке, расписанной нотами. Обыкновенный сельский маэстро...

Начался урок сольфеджио, и ребята хором запели гаммы.

Голоса у всех были разные.

Голоса были спетые.

Какие чистые это были голоса!

Праздник

Не буднями едиными жило русское село, бережно храня традицию – обилие всевозможных праздников. Иному покажется – это все от безделья, но вряд ли кто может назвать русского крестьянина бездельником. В поте лица добывал он хлеб насущный, а вот праздники умел приурочить к тому времени, когда было необходимо сделать передышку, набраться сил для дальнейшей работы.

Немало праздников сопровождалось церковным благовестом. Но были и такие, что не для бога, а для души, пестро раскрашенные народной фантазией. Была веселая, раздольная и шумная масленица, про которую говорили: «Хоть с себя что заложить, а масленицу проводить». И провожали – с блинами, катанием на санках, большими кострами.

Было 9 марта. Всем селом из оставшейся от долгой зимы муки пекли «жаворонков», и ребятишки бежали с этими хлебными птахами по улицам, в сады и огороды. «Жаворонков» сажали на стога, ветки, чтобы быстрее прилетали настоящие птицы – посланцы долгожданной весны.

Жавороночки,
Прилетите к нам,
Тепло летичко
Принесите нам,
Зима надоела –
Весь хлеб поела.

Когда приходило время бросать зерно в землю, крестьянин опять устраивал праздник. Назначали его в «чистый» четверг, потому что верили, что тогда пшеница уродится чистая, «как золото». В мещерской деревне Малахово выбирали самого уважаемого человека, и он ночью проводил первую борозду. Никто при этом не должен был того пахаря видеть.

Отмечалась русальная неделя. Девушки водили хороводы у рек и озер, пели песни, мечтали о суженом.

Не пропускало село и день Ивана Купалы, Ивана- травника. Омывались водой и росой, а ночью уходили в лес за наговорной травой, спасающей от всех на свете хворей. Надеялись отыскать цветущий только в ту ночь папоротник. Обладателю цветка открылись бы любые клады.

Был и праздник первого снопа, и снопа именинного, последнего, когда устраивали пир в складчину, пили братское пиво.

На Фрола и Лавра отмечали лошадиный праздник. В гривы даже самых последних коняг вплетали разноцветные ленты и поили лошадей родниковой водой.

На осенины стригли и сажали на коня трехгодовалых ребятишек, что означало конец младенчества, вступление в отрочество.

Был покров – конец хороводам, начало посиделкам.

Были коляда, рождественские гадания и зимние игрища. Потом снова шли чередой хороводы – радуницкие, троицкие, петровские, пятницкие, Никольские, семенинские...

Так чуткая к красоте крестьянская душа скрашивала прозу погруженных в хозяйственные заботы будней. Но со временем ради этих будничных дел забылась и поэзия праздника. Ушедшему хорошей замены не подыскали: порой никем не встреченная приходит весна, в дружном гуле тракторов пропадает святая для хлебороба первая борозда, редко где чествуют всем миром собранный урожай.

Поэтому мы искренне обрадовались приглашению на воскрешенный в

касимовском колхозе «Заветы Ильича» сельский праздник. Несколько лет подряд его устраивают после окончания весенних полевых работ, когда спадает горячка страды и можно перевести дух.

В тот день Дмитриево – большое мещерское село – проснулось раньше обычного: стряпало, гладило, навивалось. На улице Молодежной дым стоял коромыслом. Мы видели, как из дома в дом бегали девчата- подружки, примеряли обновки и ходили в них по двору: каждому хочется и людей посмотреть, и себя показать.

С утра заспешили в Касимов за товаром сельповские машины. Собрались на последнюю репетицию местные музыканты. Загудели проснувшиеся усилители – радиотехник проверял микрофоны. На липовой аллее вывешивали транспаранты с цифрами показателей, именами лучших людей. В общем, село готовилось к празднику.

Был у предстоящего действия и свой «режиссер» – секретарь парткома колхоза Александр Александрович Петропавлов, человек уже немолодой, знающий цену и хорошему труду, и доброму веселью. Сейчас даже он не может припомнить, кому первому пришло в голову на новый лад возродить традицию встречать красное лето праздником. Ему дали имя русской березки, потому что в старину, как рассказал нам Александр Александрович, как раз в это время ходили в лес «завивать» березу. Пели при этом:

Не радуйся, клен-деревце,
А радуйся, белая березонька,
К тебе девушки идут...

«Завивать» ходили часто всем селом. Выбирали самое красивое дерево, стоящее на краю ржаного поля. Длинные плакучие ветви сворачивали кольцами и заплетали в них разноцветные ленты. Потом вокруг наряженной березы водили праздничные хороводы. Срубленными ветвями украшали дома и изгороди. «Березок срубленных наставят по деревне, как в саду, – вспоминал Александр Александрович. – А песен сколько пели – красота!»

Не зря величают березу «песенным деревом». С ней издревле связаны были многие народные обычаи. Существовал прекрасный свадебный обряд: в день свадьбы для невесты ставили увитую лентами березку, которая называлась «краса». Невеста пряталась за «красу», когда приезжали жених и дружки. Последние должны были выкупить и «красу» и невесту.

Березе приписывались чудодейственные свойства: через это дерево (иногда через оглоблю) обливали больных холодной водой. Под порогом новой конюшни зарывали березовое полено, чтобы водились лошади. С березой связаны и приметы. Например, если береза перед ольхой лист распустил, нужно ждать сухого лета, а если наоборот, то мокрого.

...В полдень в старинный парк на краю села стало стекаться, кажется, все Дмитриево. Под сень вековых лип шли семьями. Нарядные, торжественные, чинно рассаживались на скамейках у деревянной коробки летней эстрады. Повсюду шныряла любопытная ребятня. Из громкоговорителей неслась музыка.

Подъехали автолавки с городским товаром, парниковыми огурцами и помидорами. Лихая лошадка доставила ящики с лимонадом и пивом.

Праздник начался чествованием колхозных передовиков. Смущенные, в костюмах и платьях, надеваемых лишь по большим праздникам, поднимались они к столу президиума, где прилюдно им вручали грамоты и подарки. Село при этом, не жалея ладоней, аплодировало.

Потом начался концерт самодеятельности. Девчата пели о русских березах, танцевали с березовыми ветками в руках. «Артисты» были всем хорошо известны. Их подбадривали, им подпевали.

Какое же гулянье без игр и веселых забав! Самые ловкие полезли на гладко обтесанный столб. На высоте был подвешен и приз победителю – клетка с живым петухом. Две компании ребят перетягивали канат: чья возьмет? Ребятишки бегали в мешках, бросали мяч.

Не замолкала гармонь, притягивала к себе тех, кто постарше.

Праздник русской березки удался на славу и закончился поздним вечером. О нем еще долго вспоминали в Дмитриеве, а соседи завидовали: и нам бы такой завести не мешало...

Мой верный попутчик дед Кузьма говаривал так: «Сердцу надо давать отдых». При этом речь шла не о модных щадящих режимах или валянии на диване. Дед имел в виду нечто другое. Он вспоминал о добрых старых праздниках...

Банька

Какая же мещерская усадьба устраивается без баньки! Стоит дом – веселыми наличниками на улицу, от постороннего глаза скрыт за высоким забором просторный двор, где и хлев, и сушило, и маленькая мастерская. Обозначен сосновыми жердинами огород с непременно пасекой в четырех-пять ульев. А уж за всем этим, на задах темнеет неприметная банька. Неказистая с виду. Посмотришь – избушка на курьих ножках: приземистая, с угольными от копоти и воды стенами, с щелями-оконцами, вырезанными почти у нижнего венца, маленькой дверью, куда можно войти, лишь согнувшись в три погибели. Заросшая купырем и глухой крапивой, она выглядит заброшенной, добровольно отданной нечистой силе, которая, по преданию, считает излюбленными как раз такие места.

Трудно представить, что именно с баньки начиналось обычно в Мещере обширное усадебное хозяйство. Когда поселенцы выбирали подходящий взгорок недалеко от леса и воды и решали прочно там обосноваться, они перво-наперво рубили баньку. Она служила им иную, чем теперь, службу: пока строился дом, хозяева жили в ней, считая дни до окончания новостройки: баня, конечно, не терем.

Завершение строительства всегда отмечалось праздником. Готовились к нему торжественно. Перед тем как переступить порог пахнувшей свежей сосновой смолой избы, вся семья мылась в бане, впервые затопив печь и натаскав из колодца воды. Дальновидный хозяин рыл два колодца. Один – перед домом, а другой – за огородом, возле баньки. Колодец был запасным в случае пожара или слишком жаркого, засушливого лета.

Первый пар становился главной проверкой достоинств и недостатков домашней баньки. Как долго держит она тепло, каково в ней дышится даже при самом крутом паре, сколько дров уходит за один помыв? По этим основным качествам судили о мастерстве строившего баньку хозяина – печника и плотника одновременно.

Банька вроде и невелика: сруб, чуть мудреней колодезного, да печь, а хитростей в ней заложено немало. Возьмешь, к примеру, на постройку свежий лес – наплачешься. Сырые бревна сохнут медленно и только через год-два начнут отбирать у пара излишнюю влагу.

А сколько дров переведешь! Топить такую баню надо дольше и чаще, чем рубленную из хорошо высушенных бревен.

Важно сделать дверь низкой, а порог высоким. Тогда тепло не утечет на улицу, если кто-то зайдет или выйдет.

Следует знать, что баньку лучше поставить окнами на запад. Парятся обычно к вечеру – закатное солнце и будет вместо лучины.

Не последнее дело грамотно оборудовать каменку. Кажется, чего проще: набери булыжника – и на печь. Но камень камню рознь. Хороший, ровный жар дадут лишь темные камни, собранные у воды. Они крепкие, не боятся перепадов температуры и не трескаются. В Мещере такие найти всегда можно, благо остались еще от древнего ледника. Правда, со временем и они приходят в негодность, становятся, как говорят, «мертвыми». Кали их не кали – доброго жара и пара не будет. Выход один – заменять «живыми».

Все ц бане имеет свой смысл и предназначенье, все должно быть пригнано и подогнано так, как велит многовековой опыт. Ведь обычай париться не выписан из- за границы. Откроем знаменитую «Повесть временных лет». Там так описывается мытье в русских банях: «...и разожгут их докрасна, и разденутся и будут наги, и обольются квасом кожевненным, и поднимут на себя прутья гибкие и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва слезут, еле живые, обольются водою студеною, и тогда только оживут. И творят так всякий день, ничем не мучимые, но сами себя мучат, и этим совершают омовенье себе, а не мученье».

А вот что писал о древних славянских банях арабский путешественник Абу-Обейд-Абдаллахал Бекри: «И не имеют они купален, но устраивают себе дом из дерева и законопачивают щели его некоей материей, которая образуется на деревьях, походит на зеленоватый мох... Она служит им вместо смолы для кораблей. Затем они в одном из углов этого дома устраивают очаг из камней и на самом верху против очага открывают окно для выхода дыма. Когда же очаг раскалится, они закрывают это окно и закрывают двери дома. В доме же всегда имеется сосуд для воды, которой они поливают раскалившийся очаг, и поднимается тогда пар. В руках у каждого связка сухих ветвей, которой они приводят в движение воздух и притягивают его к себе.

И тогда открываются их поры, и исходит излишнее из их тел, и текут из них реки».

В Мещеру бани пришли с первыми поселенцами, укоренились и так дошли до нас в своем первоизданном виде. Тот же сруб, та же печь, тот же полук. Введено было единственное новшество – дымоход. Но и сейчас можно найти баню, где продолжают париться «по-черному». При этом дым идет в парилку, коптит стены.

Домашняя банька в мещерской стороне по-прежнему любима и священна. Вспоминаю затею одного приезжего директора совхоза. Родом с юга, он загорелся идеей взамен множества частных банек построить на центральной усадьбе большую общественную баню. Ему подсказывали, что предприятие обречено на неудачу. Он не поверил, и баню построили. Но и по сей день в ней никто, кроме директора, не моется.

Сегодня нет охотников ставить на усадьбе, как бывало, овин. Отжило, умерло. А банька жива, и рубят ее в Мещере даже люди молодые, к русской старине относящиеся без особого почтения. Спрашиваю одного такого, парню лет двадцать пять, работает инженером в колхозе: «Зачем тебе персональная парилка, хлопот с ней много, не проще ли в колхозную баню сходить или сесть на «Жигули» и махнуть в город?» А он мне отвечает: «Лучше корову продам, дров на эти деньги куплю, а баньку не разорю. Я без нее не человек. Устал – попарился, заболел – опять на полук. Я в ней душу, можно сказать, отвожу.

Можешь на себе испытать...»

Случай не заставил себя ждать. Зимой я бродил по берегам мелководной реки Нармы и угодил в полынью. Выбраться большого труда не составило, но вымок я до нитки. Пока дошел до деревни, стало темнеть, подул колючий северный ветер. Увидев меня, хозяйка, у которой я остановился на ночлег, тут же побежала к соседу, чтобы, как она сама выразилась, «занять целебного парку».

Так я был приобщен к заповедной баньке Тимофея Кузьмича. Он был крепким мужиком лет пятидесяти пяти. Работал в совхозе учетчиком и одиноко, трезво жил в крашенной суриком избе (жена у него года два как умерла), имея единственную страсть – до самозабвения париться в бане. Причем топил он ее и по субботам, как это принято у всех, и среди недели. Изводил за год уйму дров.

Тимофей Кузьмич принял меня от соседки совершенно ледяного, пообещав вернуть к полнокровной жизни. Усадив меня у теплой печки, он пошел во двор к березовой поленнице. Из окошка было видно, как Тимофей Кузьмич взял большое беремя дров и затащил в баньку. Минуты три спустя из приоткрытой двери пошел дымок. Потом загремели ведра у колодца – хозяин набирал воды.

– Добро баньку истопить – половину дела сотворить, – начал с порога Тимофей Кузьмич свою сагу о банном искусстве, которым владел в совершенстве. – Лучше нет для нашего дела березовых дров. Жар от них тугой, ровный. Поленья не искривлены, как сосновые. И дух от них легкий – я топлю по-черному. Что за банька без дымка! Топить не спеши, баня суеты не любит. Сруб следует протопить, прокоптить и на часок оставить. Баня – она, как груша, ей созреть надо. Только, чур, как бы не переспела. Пока топлю, пойдем за веником. Сам его и сотворишь...

Мы пошли в сарай, где в углу стояли березовые, можжевеловые и дубовые снопы. Тимофей Кузьмич посветил фонарем, и я выдернул из каждого по несколько веток, соединив их в ароматный букет, который назвать веником было бы просто грешно. Хозяин пошарил рукой под низкой крышей и присоединил к моему букету пучок полыни. Прямые грубые стебли разлили в морозном воздухе пряный аромат позднего лета.

Тимофей Кузьмич пошел взглянуть на баньку, чтобы определить, не время ли опаривать. Я – за ним. Дрова уже прогорели, угольки подернулись легкой пеленой золы. Открыли настежь маленькую дверцу. Угар быстро вышел, мешаясь с холодным ветром. Кузьмич окатил закопченные стены водой и плеснул шайку воды в каменку. Пар выбил остатки дыма. Закрыли дверь и стали раздеваться. Хозяин продолжал свою сагу:

– Смотри, воды в каменку не переложи – остудишь. И пар будет мокрый, тяжелый. Кидай воды помаленьку... Я у вас в городе раз в бане мылся. Там в парилке так воду лили – думал, дверь с петель сорвет. А толку чуть. Не паренье, а мученье. Оно, конечно, баня без пара, что щи без навара. Но дурак думает, что пар – это когда уши закладывает и продохнуть нельзя. Пар, милый, должен быть сухой и звонкий. С духом пар. Вот я его сейчас сотворю...

Тимофей Кузьмич запарил в шайке принесенную в тряпице сухую траву и вылил туда ложку золотистого меда. Осторожно, бережно плеснул на раскаленные камни. Запахло душицей, майской пасекой и дорогим мне запахом чабреца. Нет среди суходольных трав ароматней его. И в запахе, и во втором его имени – тимьян – слышится что-то далекое, притягательное.

Я попробовал было полезть на полку, застеленный ошпаренными, шелково-мягкими еловыми лапами, но Тимофей Кузьмич усадил меня на широкую лавку, урезонив :

– Ты посиди, прогрейся, а потом и выше лезь. Надо ждать, чтоб пот прошиб. Сухим на полку не суйся. Всё-то вы спешите, городские. Я думаю, вам надо почаще в баню ходить, суету выпаривать.

Минут через десять мы полезли на полку, и Кузьмич стал нахлестывать меня веником-букетом, предварительно сгоняя к телу жаркий воздух и укладывая его легкими ударами вдоль спины.

– Примечай – поперек спины веник не ходит. Тело не камени, дай ему послабление. Бей до розовости, а красноты не допускай.

Мы снова перебрались на лавку, чтобы перевести дух и попить из березового туеса брусничной воды. Кузьмич плеснул на каменку банного нектара, и процедура недопущения хвори продолжалась...

Приятно измученный, я еле добрался до Кузьминовой горницы. Сел на лавку у широкого стола и прежде, чем отправиться спать, стал ждать обещанного самодельного чая.

Он был особый, из кипрея, неспроста называемого в народе иван-чаем. Его розовые цветы непременно встретишь на лесных вырубках и гарях. Тимофей Кузьмич заполнял пахучей жидкостью большие фаянсовые чашки и рассказывал:

– Говорят, изобрел чай из кипрея какой-то дворовый человек царскосельской вотчины господина Савелова. С посольством занесло его еще при Екатерине в Китай. Листья он обваривал кипятком и парил калеными камнями, вроде тех, что в моей баньке. Потом листья руками скручивал на рубчатых досках. Назвали чай копорским. Больше всего делали его в селе Копорье под Петербургом. Пей, говорят, в нем витаминов много...

Искупавшись в ледяной воде, я не схватил даже легкого насморка. Спасибо Кузьмичу и его баньке.

Путешествие 3-е



Когда пролетаешь над Мещерой на вертолете, не устаешь удивляться обилию лесов. Темные пятна сосновых боров-черничников сменяются светлыми квадратами березняков. Сохранившиеся по поймам рек столетние дубравы уступают место непроходимым зарослям черной ольхи. И так – многие часы полета.

Внимательный читатель справедливо заметит: не так велик мещерский лес рядом с северным или сибирским. Верно, если мерить гектарами и чащобами. Но стоит вспомнить, что Мещера, всякому путнику, идущему с юга на север, дарит первую встречу с серьезным лесом после сотен километров степей, и масштабы становятся иными.

По окраине мещерской стороны проходит зримая граница вековой борьбы

поля и леса. И если правый берег Оки знаменует собой силу пахаря, то левобережье – торжество зеленого воинства. Малодоступность и худоба земли сыграли не последнюю роль в исходе жестокой войны человека с природой. Мещерский лес устоял, отмечая великую победу салютами сосен и трубными звуками кочующих лосей.

Конечно, скрыто, подспудно борьба продолжалась, как идет она и по сей день. Земледелец никогда не оставлял надежды отвоевать новые пространства под рожь и овес, картошку и клевера: ведь он приходил в лес не по ягоды. Нужда гнала его в непроходимые дебри в поисках прокормления или защиты от сильных мира сего, заставляла земледельца бросать лесу вызов. Но здесь, в Мещере, силы оказались неравны...

Сейчас я выскажу мысль, которая многим покажется неправдоподобной: наши предки к лесу относились враждебно. В подтверждение можно привести слова известного историка В. О. Ключевского: «Русский всегда боялся леса своего, не любил его». А вот что замечает писатель-этнограф конца прошлого века С. В. Максимов: «У северных земледельцев в противоположность южным и западным эта ненависть (к лесу – В. П.) доведена до того, что все селения стоят на полном солнечном припеке и тщательно и намеренно избегают даже прохладной тени лиственных и кустарниковых деревьев, отводя лишь изредка, в исключительных случаях, местечко, и то на задворках, бесполезным деревцам рябины и черемухи».

Но нелюбовь к лесу не мешала крестьянину относиться к нему с должным уважением: все-таки жизнь в лесном краю при всех трудностях имела немалые преимущества. Мещеряки не испытывали, как их южные соседи, недостатка в материале для постройки лодок и изб, изготовления всякой деревянной мелочи. Всегда в избытке имелись дрова. Подспорье в хозяйстве немалое, если учесть, что, по подсчетам ученых, даже каждый современный человек расходует за свою жизнь сто кубометров древесины. Прибавьте сюда промысловое зверье, лекарственные травы, ягоды и грибы. Следует оговориться: все, что здесь перечислено, имело в недалеком прошлом совсем иной удельный вес в крестьянском хозяйстве, чем сейчас. Взять, к примеру, грибы. Мещерские, а если точнее, егорьевские рыжики получили российскую известность и кормили-поили целые деревни. Каждая хозяйка с детьми, как пишут об этом очевидцы, «выхаживала» за лето грибов на 25–30 рублей. Семья в пять человек получала в хозяйство прибыток в сумме 150 рублей. Денег хватало на весь год. Так что обыкновенный лесной рыжик держал на себе в некоторых местах всю крестьянскую экономику.

Конечно, не одной прямой выгодой определяется польза леса. Никогда не пребывала в забвении и другая светлая сторона самого темного бора – его эстетическая ценность. И, если хотите, педагогическая. Сошлюсь на мнение великого воспитателя К. Д. Ушинского: «Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога».

О красоте мещерского леса написано немало. Она щедро воспета в песнях, стихах, воплощена художниками в пейзаже, потому что есть в этих лесах притягательная особенность: они в отличие от северных или сибирских светлы и праздничны. Нигде не найдешь таких золотых сосновых боров, чистых, как родник, березовых роц, зачарованных, словно из металла отлитых, ольшаников. Лес может навеять на вас тихую грусть, но никогда не принесет

давящей, съедающей тоски, потому что по сути своей, по природному устройству – радостен.

В Мещере было немало глухих, первобытных мест. Только и в самой непроходимой чащобе отыскивалась какая-нибудь веселая полянка. Обязательно хмурый в других местах ельник здесь дружелюбен, если не приветлив: солнце пробивается сквозь хвойные лапы, искрится роса на мягких мхах, вперед видно на три шага, не более, и кажется, что ты в уютной лесной комнате.

В сухих дюнных борах даже вечером можно свободно читать книги, а в березняке светло и ночью.

Еще одно привлекательное свойство мещерского леса – он никогда не утомит путника однообразием. Сочетания хвойных и лиственных пород непредсказуемы, неожиданны. Здесь нет ничего окаменевшего, застывшего на столетия. Природа и человек предаются свободной фантазии: болота, пески и пожары делают свое, а топор свое дело.

Каким был мещерский лес несколько веков назад, можно только догадываться. Бесспорно одно: он был гуще и девственнее, отдавая явное предпочтение сосне и ели. Вместе с земледельцем, жаждавшим не леса, но поля, в Мещеру хлынули березовые потоки. Вырубки, пустоши, гари быстро заполняли белоствольные красавицы, а с ними и осины. Береза стала преобладать так сильно, что коренные лесные племена уверовали в то, что появление белой березы означает их погибель и несет владычество «белого царя».

Стеной стоявшие леса со временем человек и пожары несколько разрешили. Образовались проплешины в тысячи гектаров, занятые полями или горельни-ком.

Первым принял на себя страшный удар топора лес строевой, «хоромный». Столетние сосны и ели шли на постройку крестьянских усадеб и княжеских теремов, становились товаром, желанным в степных районах и за границей. Тогда природа сама восстанавливала равновесие, боры продолжали шуметь.

Когда проложили первые дороги, устроили казенные дачи, мещерский лес стал платить тяжелую дань, год от года все возрастающую. Лесные уголья в конце концов быстро сошли бы на нет, если бы человек не помогал сосновым борам и ельникам восстанавливать утраченные силы. Но поспевать за топором было все-таки сложно...

Особенно досталось близким к большим дорогам мещерским лесам в годы Великой Отечественной. Рубили без разбора, в самых доступных местах: фронт требовал свое. Деревья, как и люди, несли нелегкое бремя войны.

Все это стоит вспомнить, когда приходишь в сегодняшний мещерский лес. И по нему можно угадать крутые повороты истории. Иная сосна так же полна мудрости, как Никоновская летопись.

Лес рязанской Мещеры сегодня занимает почти 340 тысяч гектаров. Это несколько миллиардов деревьев. Настоящая зеленая галактика, узнавать тайны которой – занятие интереснейшее...

На кордоне

Почти на всех картах этот кордон помечен как 273-й. Но местные, гришинские, давно зовут его кордоном Паустовского. В сорок седьмом, послевоенном году писатель случайно забрел туда, прожил несколько дней в небольшом домике лесника Алексея Желтова, а позже написал о кордоне

рассказ.

Как справедливо говорит один из его героев, в Мещеру нельзя приезжать безнаказанно. Так и вышло: мещерские леса взяли Паустовского в пожизненный плен. Он уходил в них от столичной суеты, как раньше удалялись от мирской суеты в монастыри. В ту пору спутников у писателя было немного. Когда горожан стало больше, а лесов меньше, паломников в природу заметно прибавилось. Как никогда современно зазвучали слова Петрарки, произнесенные шесть веков

назад: «Враждебны города, приветны рощи для дум моих...»

«Приветными» для исколесившего всю страну писателя стали именно мещерские леса. Почему? Ответ на это дает сам Паустовский: «...два-три часа сна в лесах стоят многих часов сна в духоте городских домов, в спертom воздухе асфальтовых улиц», «Мещерские леса величественны, как кафедральные соборы», «Нет большего отдыха и наслаждения, чем идти весь день по этим лесам...». И наконец: «И если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было,— этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь».

После того как были написаны эти строки, Паустовский еще не раз приезжал на знакомый кордон, неделями жил там, вновь и вновь очаровываясь неброской красотой здешних мест. До конца жизни его тянуло сюда. Незадолго до смерти он навестил Гришино, чтобы попрощаться со старым кордоном, где ему всегда легко дышалось и работалось.

Дорогу на знаменитый кордон вам сейчас укажет любой житель Гришина – дальней мещерской деревни, свернувшейся калачиком возле Пры. До войны здесь жило немало народу, делали колеса, бочки, улы, гнули дуги. Незаметно как-то поредели избы, повывелись промыслы. Остались лесничество и небольшая лесопильня.

Мы прошли деревню насквозь, поднялись на холм, откуда было видно скользкое тело Пры. Сверху река походила на разомлевшего на солнцепеке ужа. На краю широкой поймы стеной стоял лес. Нам предстояло дойти до него и отыскать по указанным приметам тропу на кордон. Рядом с обочиной дороги заметили десятка два вросших в землю базальтовых голышей, каждый размером с баранью голову. Кое-где виднелись покосившиеся кресты. Это было забытое кладбище староверов, на могилах которых лежали замшелые камни.

Возле отпочковавшейся от Гришина деревеньки Заводская Слобода, где в петровские времена был небольшой железодельный завод, перешли вброд Пру. Упругое течение сбивало нас на глубину, но мы все же удержались на гребне подводной косы, тянувшейся от берега до берега. Конечно, можно было идти по мосту, но темная прохладная вода обещала снять с ног усталость.

Сначала пошли большаком, но, дойдя до леса, свернули в чащу. Запахло прелью и близким болотом. Тропа повела нас низиной, сухой в жару, но вряд ли проходимой в пору больших дождей. Ольха чередовалась с березой, кусты бересклета – с лещиной. Огромные, как лопухи, листья конского щавеля хлопали по ногам, путали шаг.

В самом низком месте из тонких осиновых жердей была предусмотрительно устроена прочная гать. И сразу за ней тропа дернулась вверх. Мы поднялись на материковый холм. Теперь уже не березы, а сосны

оказывали нас со всех сторон. Высоко в голубом небе ветер трепал их кроны. Тихо поскрипывая, раскачивались загорелые стволы.

Большие сосны вызывают ощущение неизменности. Это и потому, что в силу многих причин мы не видим, как вырастают леса. А вырастают они трудно, в жестокой борьбе утверждая свое право на место под солнцем. Среди деревьев страшная смертность: из ста выживают всего пять...

Настоящие трагедии разыгрываются под густым пологом леса.

Семена березы созревают в августе и падают всю зиму. В декабре невесомо ложатся на снег семена сосны. И только весной малую долю их принимает земля, чтобы уже через год превратить крохотное семечко в тонкий росток. Проходят неторопливые годы, и подрост – надежда и опора любого леса – смело поднимает голову. Но нет ему настоящей воли под густыми материнскими кронами, сквозь которые не пробиться солнцу.

И подрост ждет. Ждет смерти тех, кто его родил. Порой десятки лет, а у ели, к примеру, чуть не половина жизни может уйти на это томительное ожидание, если только не случится пожар или ураган не пронесется над лесом. Но и тогда молодую поросль ждет почти неминуемая гибель: утонет она в стремительно хлынувшем, обжигающем солнечном свете.

Продолжительны акты лесных трагедий. «Надо, – писал Михаил Пришвин, – научиться чувствовать у деревьев столетия, как наши годы, и только тогда можно понять движение и борьбу у деревьев, как у людей».

Когда мы проходили мимо покалеченной бурей рябины, обратили внимание на огромное количество еще зеленых ягод, свисавших с веток тяжелыми гроздьями. Человек, чувствуя скорый свой уход, обычно спешит оставить по себе добрую память. Замечено, что и деревья, обреченные болезнью, ветроломом или бессмысленным ударом топора на гибель, вдруг начинают невероятно плодоносить и, лишь выполнив свой долг перед природой, умирают...

По-разному ведут себя деревья в лесу.

На открытом месте та же сосна дает кроне свободно разрастись, утолщает боковые ветви, закручивает их самым фантастическим образом. Такое одиноко стоящее дерево похоже на памятник, сделанный талантливым скульптором.

В лесу сосна становится уживчивым, покладистым соседом: растет сама и не мешает жить другим. «Прическу» выбирает себе поскромнее и только тянется что есть силы вверх. В сухих мещерских борах можно встретить сосны высотой более сорока метров.

А вот у березы, при всей нашей к ней симпатии, характер строптивый и мстительный. Она не любит соседей, если они другого рода-племени. При сильном ветре своими длинными плакучими ветками береза насмерть захлестывает нежные верхушки подрастающих возле нее елочек и сосенок. Ученые утверждают, что белая красавица проявляет редкое коварство, выделяя из корней вещества, угнетающие рост других деревьев. Как тут не вспомнить: в тихом омуте черти водятся... Но, бесспорно, к положительным качествам следует отнести отчаянную смелость березы. Она первой обживает новые места, раньше других заселяет вырубку и гари. А уже за ней идут осторожные дуб или ель.

Слишком много сил приходится отдавать за радость первооткрытия, потому так короток березовый век. Если сосна доживает до четырехсот лет, то береза редко когда дотянет до ста пятидесяти.

По сравнению с березой ель – большая неженка. В молодости боится

заморозков, крепкого ветра, который ее запросто валит. Она прихотлива к почве. Но при этом совершенно не боится тени. Может устроиться под кроной березы или сосны, долгие годы выжидать своего заветного часа. Терпению ели можно позавидовать.

Как говорил мой знакомый лесник, деревья в Мещере, что люди,— одно другому рознь.

...Кордон открылся нам на лесной опушке. Песчаная дорога вела к небольшому, в четыре окна, приземистому дому под белой шиферной крышей. Ветхая, скорее символическая, изгородь опоясывала забитый купырем и осотом огород. К дому примыкали два сарая. Один из них держался чудом: бревна подопрели, а в щели между досками свободно залетали ласточки. На берегу близкой речной заводи, заросшей кувшинками, стояли летняя печь, дощатый обеденный стол и длинные лавки.

За столом сидел помощник лесничего Петр Алексеевич — сын «летописного» уже Алексея Желтова. Неторопливо покуривая, он пристально осматривал нас, прикидывая, наверное, что мы за птицы — по делу или туристы. Темные, почти черные от загара руки держали белоснежную папироску, а дым зонтом висел в плотном смоляном воздухе. Рядом облезлый пес, поскуливая, гонял ужа, жившего в дупле старой ракиты.

Позже выяснилось, что кордон собрал под свою крышу двух братьев, Петра и Алексея, и их сестру Анну — женщину лет сорока пяти с полным добрым лицом. Она хлопотала по хозяйству. Кормила кур, подметала в доме.

Несколько лет назад дом перевезли на новое место. Раньше он располагался немного ближе к лесу, почти вплотную к сараю с сеновалом. После смерти отца Петр Алексеевич обновил сруб, расширил двор, почистил колодец.

Кордон оживает исключительно летом. На зиму Желтов перебирается в Гришино. Старый лесной дом заваливает снегом, и он погружается в спячку до той поры, когда откроются вешние ручьи и нетерпеливо закричат в заголубевшем небе первые журавли.

Сейчас дом переживает трудные времена. Требуется срочный ремонт. Неотложно он нужен и покосившемуся сараю. Его сеновал долгое время был надежным убежищем для Константина Паустовского во время коротких летних ночей. По шаткой лесенке мы поднялись на сеновал, посидели в полумраке, вдыхая запах сухих болотных трав и старого дерева.

Узнав, кто мы и откуда, Петр Алексеевич перестал недобро смотреть на нас.

— Одолели туристы. Это что на лодках по Пре плывут. Их за день десятка два мимо проплывает, и каждый ко мне — Расскажи ему про Паустовского. А рас

сказывать-то особо и нечего. Приезжал сюда. Ходили с ним на зорьку — я ему рыбные места показывал. Бывало, беседовали — о Москве, о наших лесах, но все урывками, не хотелось мешать человеку. Как ни говори — писатель. Ему нужна тишина. Шума-то и в городе полно... А места он наши захлеб любил. Это точно...

20 августа 1948 года из Гришина Паустовский отправил письмо своему другу Константину Федину, в котором писал: «Если бы ты мог все это видеть, эти удивительные очень русские и очень сказочные места... Представь себе огромный лесной край, дремучие сосновые боры на холмах, озера, душистые заросли, бездну цветов, реку, подмывающую вековые деревья, ночи, когда трубят в лесах лоси и около избы лесника горят костры (от волков), и нас в

избе лесника Алексея Жел- това... Это – полесье, древний и пустынный край».

...Ночевали мы в палатке возле озера с ласковым названием Шуя. Заросли черной ольхи закрывали от нас подходы к берегу. Но запах мокрой травы, прибрежной тины и вечерний туман не давали забывать о близкой воде.

Засыпая, мы ждали – вот-вот затрубят лоси или заушает филин. Но в сказочной темноте до утренних звезд тарактели на ближних болотах мучимые бессонницей трактора...

Лес насущный

Есть у меня знакомый мельник. Скоро будет полвека, как служит при старой водяной мельнице. В разгар весны он всегда зовет меня в гости. Чем нашего брата можно легко заманить, он прекрасно знает – березовым соком.

Эка невидаль, скажете вы! Его продают в любом магазине в пузатых трехлитровых банках. Но сок у моего знакомого покупному не чета.

Рядом с мельницей на крутом косогоре густо стоят березы – живая стена. Роща чистая, не замутненная никакими древесными примесями: завоевав косогор, березы сжили со свету всех инородцев.

Как только заиграет в белых стволах весенний сок, мельник начинает сбор березового нектара. Набрав его в достатке и закрыв затычкой просверленные отверстия, он сливает парной сок в большой липовый чан.

Чтобы сок не запылится, посыпает его овсом. Плавающие семена вскоре прорастают, образуют прочную дернину. Через неделю-две сок перебродит. Станет пенистым, воздушным, как шампанское. Вот тогда-то мельник и зовет меня в гости. Мы устраиваем в избе весенний пир. Разливаем бесхмельный напиток по большим кленовым кружкам, и мельник произносит обязательный тост:

– Пьем березовицу за дарованное благо, за лес наш насущный!

Мельник больше связан с полем, чем с лесом. Но к дереву питает уважение. Сам слывет хорошим плотником и знает лесу настоящую цену. Замечая красоту, мельник не чурается и практического взгляда на вещи.

Кому не известно, что лес – это не только прозрачные березовые рощи и гудящие на ветру сосновые боры, но и нечто прозаическое – деловая древесина, например. Без нее даже в синтетический XX век как без рук. Срубленное дерево пускает прочные корни в наше бытие, становясь крепким домом, бумагой, опорой линий электропередач, нарядным платьем, чудодейственным лекарством. Так было издревле: лес кормил человека, оставаясь для него не только храмом, но и мастерской. Самая разная польза росла вместе с деревом, и всю свою жизнь человек учился умело ее извлекать. Научившись, передавал секреты потомкам. Что-то при этом терялось, но и умножалось тоже...

Мещерский лес других лесов не хуже. Всего тут растет в достатке. Строевая сосна, годная на первоклассные дрова береза, мечта ложкаря – осина, «рыболовное дерево» – орешник и много другой зеленой всячины.

Вместе с мельником стали считать, сколько полезных вещей ведет свою родословную от мещерского дерева, и сбились на третьей сотне. Разве все вспомнишь!

Когда заходит речь о народной пользе леса, мне почему-то вспоминаются не отливающие теплым золотом кубометры на лесопильне, не добротные деревенские срубы, не чистый лист бумаги, а сосновая капля в жаркий июльский полдень, каменеющая к вечеру пахучим янтарем.

Живица... Удивительное, до сих пор не разгаданное вещество! Тайна

янтарной капли не открылась даже всезнающим химикам. Никто из них так и не может назвать полной формулы живицы.

Вся древесина сосны пронизана мельчайшими смоляными ходами. Стоит нанести на стволе рану, как смола быстро ее зальет, словно пластырем залепит поврежденное место. Сосна сама себе доктор. Недаром слово «живица» берет начало от старинного поверья о способности сосновой смолы заживлять раны.

Полезные свойства живицы были замечены давно. Еще в эпоху неолита человек закреплял смолой кремневые зубья серпов в рукоятках. Древние египтяне склеивали смолой диоритовые плиты и смальту, разноцветные стекла мозаики. Бесцветными смоляными лаками покрывали для крепости стенную роспись гробниц. Благодаря этому она сохранила первозданную свежесть красок на тысячелетия.

Знаменитый греческий ученый Теофраст – ученик Платона и Аристотеля – знал толк в сосновой живице. Сосне он посвятил раздел своего трактата «Исследование о растениях». Наблюдения его были точны и достоверны. «...Если зима умеренна, – писал он, – смолы будет много и хорошей, если зима сурова – смолы мало и она хуже. Самую лучшую и чистую смолу получают с мест, залитых солнцем, смола из тенистых мест темна и горька... Если с солнечной стороны ствола сосну ободрать на два локтя от земли, через год она вся пропитается смолистым веществом, особенно ядро ствола...»

Вряд ли мещерские смолокуры читали трактат Теофраста. Но действовали они, скажем прямо, «по науке». В начале весны, когда дерево наполняется свежими соками, в лес отправлялись вздымщики. Выбирали подходящие сосны, при этом пробуя древесину на вкус. С деревьев сдирали кору от корня до того места, куда дотягивалась рука с топором. Подсоченные таким образом сосны оставляли на корню два-три года. Бывало, и на больший срок – чем дольше, тем прибыльнее. Потом деревья срубали, очищали от корней и ветвей и свозили на место, называемое майданом. Оно представляло собой широкую прогалину в лесу, где устраивалась смолокурня. Здесь просмолившиеся чурки раскалывали на поленья, называемые смольем, которые и складывали в костры. Рыли яму и в нее ставили деревянный ларь высотой чуть больше метра, куда стекала разогретая смола. Костер курился пять – семь дней. Остывшую смолу разливали в бочки. Добывание, или, как говорили, «сидка», смолы было делом нехитрым, доступным для каждого бедняка, но чрезвычайно тяжелым. Топор и лопата являлись единственными инструментами смолокуров. Особо славилась смолокуры мещерских деревень Заднепилево, Макеево, Заводская Слобода.

В XVI веке смола была главным российским товаром, экспортируемым через Архангельск в Англию и Голландию, где шла на просмолку судов. Когда Петр I стал поднимать свой русский флот, то учредил смоляную повинность. За ее выполнение спрашивали строго.

Сосновая капля не прекратилась и в наше время. Спрос на канифоль и скипидар, получаемые из живицы, все растет. В сосновом лесу не редкость увидеть на деревьях приметный знак подсочки – оперенную стрелу. Ее насекают весной лесники специальным инструментом – хаком. По капле стекает янтарная смола в пластиковую воронку. За лето одно дерево дает от 300 до 650 граммов живицы. Смолу собирают в бочки и отправляют на переработку.

Более семидесяти отраслей современной промышленности не могут обойтись без сосновой смолы. Добытая из нее канифоль применяется при

изготовлении синтетического каучука, бумаги, картона, шин, лаков и красок, пластмасс. Без канифоли не полетит ракета, погаснет телевизор. Верой и правдой служит людям янтарная сосновая капель.

...Вот о чем я вспоминаю, когда старый мельник произносит свой весенний тост: «За лес наш насыщенный!»

Письма из леса

Вечерами из моего окна видна далекая цепочка огней. Она зябко мерцает, и кажется, будто там – окраина большого города. Конечно, никакого города нет, а за огнями начинается лесное море Мещеры. Его волны докатываются почти до берегов Оки, до выгнувшего спину бетонного моста, огни которого я вижу по вечерам.

Лес так близко, что явственно слышится его размеренное дыхание. Летом при северном ветре или после хорошей грозы бродит между домами крепкий смоляной дух. Осенью к сосновому прибавляется тонкий грибной запах. Весной верх берет зацветающая по опушкам черемуха. Так бывает, когда в лесу все в порядке. Но стоит случиться беде, и мы тут же узнаем об этом: дым пожара легко переплывает через Оку. Тревожно и беспокойно делается тогда на душе.

И лишь зимой лес ничем особым себя не выдает. Густо выпавший снег отдаляет нас от него. Пройтись на лыжах вдоль ближней просеки – вот, пожалуй, на что отваживаемся мы рискнуть, совершенно не ведая о той жизни, какая в ту пору устраивается в дальних лесах и чащобах.

Зимой я узнаю лесные новости из писем. Их присылают из мещерской глубинки мои друзья – давние ревнители леса. Они пишут о нем так, как мы вряд ли бы написали даже о собственной квартире, за долгие годы досконально изученной от плинтуса до водопроводного крана. Подмечены сотни мелочей, ничего не говорящих горожанину, но знаменательных для посвященных в зеленые тайны лесной жизни.

«Землю побелило нынче рано, – написал мне однажды друг-лесник из-под Елатьмы. – Снеговой пух лег на сырое, все и подумали, что образовалась зима. Только моя садовая вишня – ты помнишь, она одна вышла наперекор морозам – подсказала другое. Лист с нее не сошел, значит, не быть зиме. Примета верная, не подвела. На неделе снег растаял, как и не было.

23 ноября лег коренной снег, лесу дал успокоение, как ни говори, а корням холодно уже... В лес хожу пеший. С лыжами путаться рано. Следов видел множество. В осиннике лось метки оставил. Озорует, дерет осину почем зря.

У елани скакал до скирды русак. Строчку вывел ровную, аккуратную, не то, что беляк. Лиса на опушке лунок накопала. Мышкует в охотку, пока не голодно.

Лес стоит тихо, ждет крутого мороза...»

А это письмо я ждал с особым нетерпением и, признаться, с тревогой. Молчит старый человек, не пишет: не стряслась ли какая беда? Но письмо пришло. Знакомый лесник Данила Кузьмич Архипов подал о себе весточку.

Справился вначале о здоровье, попросил передать поклон, а потом повернул к главному: «Сколько мог – противился пенсии. Но годы не обманешь. Тяжел стал на ногу, а обход у меня, сами знаете, немалый. Почти две тысячи гектаров леса. Обойти – и то, сколько сил надобно. Подал в отставку. Сижу теперь со своей старухой дома в Кочемарах, копаюсь на огороде да на дворе. Зимой совсем тошно. Выйду на порожек, погляжу за околицу – сердце постукивает, хочется в свой лес...»

В лес, уже не сторонним наблюдателем, а работником, Данила Кузьмич пришел в тридцать пятом, в то время, когда организовывался Окский заповедник. Архипов был старшим сыном в бедной многодетной семье. Крестьянствовал, батрачил, успев закончить всего два класса церковноприходской школы. Когда в Кочемарах создали колхоз, он вступил в него, но тяга к лесу, а не к земле взяла свое. Так Данила Кузьмич оказался в лесниках.

Впервые я встретился с ним несколько лет назад. Это было весной. На моторной лодке нас предложили довести до устья Пры научные сотрудники заповедника, имея в той стороне и свои интересы. Высокий, широкоплечий Данила Кузьмич уверенно взял в руки весло, оттолкнулся от берега, и наша лодка по течению мимо ивовых кустов и коряг. Лесник сделал пару верных гребков. Лодка послушно выскочила на середину Пры. Здесь запустили мотор. Он ровно застучал сразу после резкого рывка пускача. Волна ушла искать далекий в половодье берег, а мы устремились вниз по реке, туда, где расплескалась до горизонта Ока...

Летом в какой-нибудь знойный полдень жизнь на реке замирает. Почти не увидишь зверья. Изредка лениво выпорхнет из ракитника птаха да покружит в вышине для порядка коршун.

Другое дело весной. Крик, шум, радость возвращения, строительные хлопоты, первые проблемы и огорчения. Забормотали на берегу тетерева. Ждут не дождутся, когда спадет вода и можно будет заняться устройством гнезд прямо на подсохшей земле где-нибудь по опушкам и старым вырубкам, в мелколесье.

Из-за распушившихся ив то и дело стремительно вылетали потревоженные шумом мотора утиные пары. Сделав стремительный полукруг, они вновь садились в укромном месте продолжать нечаянно прерванный роман. Весна – время птичьей любви.

На одиноко стоящей в воде березе мы увидели наскоро сооруженное гнездо. Когда подплыли поближе, то разглядели торчащий из него птичий хвост.

– Это ворона, – махнул рукой Данила Кузьмич, – разбойница, каких свет не видывал. Сколько она гнезд разоряет! Достается от нее и уткам, и дроздам, и куликам. Даже птенцами может поживиться...

Такая нелестная характеристика не помешала, однако, леснику вместе с научными сотрудниками заповедника внимательно осмотреть гнездо, измерить насиживаемые яйца. Воронье яйцо я увидел впервые и поразился его красоте: довольно крупное, оно было точно из малахита сделано.

Нас высадили у кордона Ерус. Наш путь лежал дальше, на Кочемары. Шли по жухлой прошлогодней траве, обходя маленькие бочажки, в которых стояла прозрачная талая вода. Изредка попадались и плешины просевшего снега, видно, не добралось еще до него весеннее тепло.

Данила Кузьмич шел ходко, легко переставляя длинные ноги и делая отмашку правой рукой. Левая была занята холщовым мешком с кое-какими припасами. Заметив на тропинке робкое пятнышко цветов мать-и-мачехи, лесник обогнул его, чтобы ненароком не затоптать.

– Не увидишь, как уймется паводок, всюю пойдет первоцвет, – надо будет улыи из омшаников выставлять. У меня на кордоне пасека. Подсобное хозяйство. Ульев немного, а медку на всю зиму хватает. Там грибков подсушу, ягод. Лес – он только ленивого не покормит...

Среди кочек Данила Кузьмич успел разглядеть свернувшуюся клубком

змею. Она грелась на солнцепеке. Изысканный тонкий узор тянулся вдоль спины. Архипов достал клеенчатую книжку и что-то в нее записал, вероятно, отметил для памяти первую встречу с гадюкой. Позже эта запись, как и другие подобные, переключает в журналы наблюдений за природой, которые ведут в заповеднике.

Данила Кузьмич никак не походил на того сказочного старичка-лесовичка, образ которого рисуется нам при одном упоминании о леснике. Широкий в кости, с большими крепкими руками, крупной головой, он больше подходил для роли какого-нибудь мастерового. Да он, в сущности, свою работу в лесу и рассматривал под прицелом несуетной деловитости. Почти на каждом шагу делая для нас открытия за открытиями, он неторопливо укладывал свои наблюдения над лесом, его обитателями в объемистую записную книжку. В такие

минуты он был похож на въедливого завхоза, проводящего годовую инвентаризацию. Глаз его не пропускал никакой мелочи, придирчиво переходя, к примеру» с упавшего дерева на какую-нибудь неприметную кочку: а не пропало ли чего?

Лесник снова зашагал по тропе, продолжая рассуждать о волновавшем всю его долгую жизнь предмете:

– Я иногда думаю, что лес – живое существо. Ну, как мы с вами. Ведь он все может: рождается, живет и умирает. Лес – он надежней любого друга. Разве выдержал бы я без него, когда умерла моя Ефросинья Сергеевна? Ни за что. Он один мне дал силы, вразумил и направил. Раз, правда, было – возгордился, думал, без леса обойдусь. Поехал в дом отдыха в Сочи. Покрутился там неделю, походил из угла в угол – такая тоска меня взяла! Плюнул на даровую путевку, уехал. С тех пор из лесу ни шагу. Все отпуска тут, на кордоне. И умру если и не тут, то у себя дома, в Кочемарах – в ногах у леса...

Пройдя молодой сосняк, мы вышли к березовому островку, имевшему в поперечнике с полсотни шагов. Он приветливо светлел, тихо благословляя весну.

Лесник поправил форменную фуражку и лукаво нам подмигнул:

– Отгадайте-ка, ребятки, загадку. Стоит дерево, цветом зелено. В том дереве четыре уголья: первое – больным на здоровье, второе – от тьмы свет, третье – дряхлым пеленанье, а четвертое – людям колодец? Что, не угадать? Тогда помогу. Береза это. Паримся в бане березовым веником, встарь еще освещали избу березовой лучиной. Разобьется горшок, станет дряхлым, его спеленают берестой. Березовый сок мы до сей поры пьем. Да что там береза! Весь наш мещерский лес что святой колодец. Всякий жаждущий да напьется. Спаси его и сохрани...

«Спаси и сохрани...» Полтора года спустя я вспомнил эти слова Данилы Кузьмича, когда вместе с рязанскими лесоводами встречал в Криуше ученых – лесоводов Финляндии, интересовавшихся проблемами осушения лесных земель.

Осень только-только началась. Стояли теплые дни, и зелень березовых рощ, чувствительная к перемене сезона, еще хранила верность лету. От дирекции лесокомбината на новеньком «рафике» по сухой песчаной дороге мы отправились вместе с гостями в ближний, еще не заматеревший сосняк, где лет десять назад провели осушение.

Иностранцев специалистов, уже изрядно полазивших по нашим северным, сходным с финскими, лесам, интересовало, как мы бережем и умножаем

лесные богатства Мещеры – края для них малознаемого. Приехали на место, прошлись вдоль стройных посадок. Гости удовлетворенно закивали головами: хороший лес, ничего не скажешь. Финны знали, что говорили, ведь опыт у них огромный, они одними из первых в мире начали осушать переувлажненные леса. Но тут же и предостерегли: с мелиорацией поосторожней, успехи в одном месте могут в другом обернуться бедой.

Есть, к сожалению, и у нас такие прецеденты. Были и в прошлом (достаточно вспомнить неудачный итог экспедиции генерала Жилинского), существуют и в настоящем. В иных лесничествах не редкость засыхающий на корню лесок, гаревая пустошь – печальные свидетельства непродуманного осушения.

Целый день ездили финны по лесам. Больше ничего не хвалили: все-таки народ северный, сдержанный. Но к вечеру, когда был осмотрен последний лесной квартал, не выдержали и в один голос: богатство-то у вас какое!

Было время – Финляндия не слишком беспокоилась за свои леса. Многие считали, что их даже слишком много. Вековые боры вырубали, надеясь на освободившейся земле устроить плодородные поля. Так что же из этой затеи вышло? Вместо ответа расскажу об одном случае.

Несколько лет назад я был в Финляндии. С одним знакомым журналистом договорились съездить на могилу Сибелиуса. Взяли небольшой запас провизии, сели в машину и покатали по отличному шоссе на север от Хельсинки. Где-то через полчаса решили ненадолго остановиться в местечке Нурмиярве. Здесь долгое время жил Алексис Киви – сын сельского портного, позже ставший классиком финской литературы. Среди негустого леса и морщинистых базальтовых валунов затерялся небольшой деревянный дом, который писатель построил по собственному проекту. Неподалеку тихо лежало озеро Туусула. Добирались до него лесом. В первые минуты он показался мне каким-то неестественным, словно театральная декорация. Чистые, будто веником подметенные, тропинки, изумрудный мох на седых камнях, красавицы ели, нетронутые, стоящие навтыжку, как образцовые солдаты, подосиновики. Грибы в Скандинавии вообще собирают редко, а если и отправляются на третью охоту, то обязательно берут с собой проводника.

Погуляв по берегу озера, снова тронулись в путь. Из окна автомобиля я все приглядывался к бегущим по обе стороны шоссе соснам. Это был, конечно, настоящий лес, но я опять не мог отделаться от мысли об опрятном садовом газоне.

В местечке Айнола был конечный пункт нашего короткого путешествия. Мы сходили на могилу композитора Сибелиуса, окруженную рядами сосен, похожих издали на огромный орган. Постояли в тишине.

Пришло время обеда. На лужайке недалеко от шоссе расстелили полиэтиленовую скатерть, разложили заготовленную еду. Пригласили присоединиться к нам проходившего мимо старика финна. В зеленой матерчатой кепке и синем комбинезоне, с большими натруженными руками, он оказался рабочим какой-то лесной фирмы. Предложение было принято, и мы дружно взялись за обед. Разговор завязался сам собой: наш новый знакомый, чувствовалось, давно скучал по внимательным собеседникам.

Мы похвалили финские леса. Да, согласился старик, только раньше их не жалели, вырубали, чтобы распахивать землю под поля. Но урожай себя не оправдал. Теперь приходится давать задний ход – поля в Финляндии активно засеваются под будущие леса. Природу не обманешь.

Признаться, мы удивились, узнав, что старик занимается вывозкой леса на... лошади. Финны считают это выгодным: ведь техника в лесу, что слон в посудной лавке. Нередко на опушке можно увидеть такое объявление: «Въезд на тракторах и автомобилях строго воспрещен!» Посмотреть бы на эти объявления нашим мещерским лесозаготовителям – их мощные лесовозы без жалости сдирают верхний, накопленный веками слой почвы. После таких маневров лес долго не может отдышаться...

Техники в Финляндии достаточно, но ее не торопят без надобности пускать в дело. А как же производительность, скажете вы? Или в лесное хозяйство привлекаются большие людские ресурсы? Нет. Производительность чрезвычайно высока, а людей в лесу

встретишь немного. Достаточно сказать, что один финский рабочий при помощи нехитрого приспособления высаживает саженцы на площади 50 гектаров за один сезон. При этом приживаемость саженцев высокая.

Конечно, финские леса не Мещера. Есть свои особенности и традиции. Но различия не таковы, чтоб от доброго опыта отмахнуться, ведь проблем-то – дремучий лес.

Возьмите наугад любую. Много или мало рубится в Мещере леса? Много – скажет иной любитель природы. Мало – так ответят специалисты-лесоводы и покажут цифры. А они красноречиво говорят о том, что за год в мещерских лесах прирастает больше, чем заготавливается. Цифра сомнений не вызывает, но благополучно скрывает другую, важную и болезную, проблему.

В земледелии давно говорится о дальнем поле. На нем и сев позже начинают, и уборка затягивается, и удобрения сюда частенько не довозят. Так вот, есть и чрезвычайно остро стоит проблема дальнего леса. Сюда нет хороших дорог, просеки заросли. С каждым хлыстом придется повозиться. Куда легче оголять леса ближние, с накатанными большаками, близкими железными дорогами. С таких лесов и собирают мещерские заготовители главную свою дань. При этом не принимаются во внимание подчас ни близость озер и рек, которые вскормлены лесом, ни возраст деревьев, ни красота ландшафта.

Чтобы убедиться в этом, достаточно предпринять короткое путешествие в близкий к Рязани Солотчинский лесоккомбинат. Свежие и старые порубки неспелых еще сосен, захламленные лесосеки, многие годы пустующие кварталы, где, по отчетам, давно бы надо шуметь молодым лесам...

Возьмите другую, не менее важную проблему. Леса вырубаются. Дело в принципе естественное, если считать, что вырубленное тут же восстанавливается. Всемогущие цифры и здесь вас попытаются успокоить: на месте уничтоженных встанут молодые леса. Лучше, чем были? Вам обязательно пообещают: лучше, ведь посажены не бросовая осина или считающаяся у лесозаготовителей парией береза. Красавице сосне радовать, по расчетам, наших потомков. Но все это будет в лучшем случае лет через пятьдесят. Где гарантии, что наши внуки получат в наследство свой уникальный солотчинский бор, елатомские ельники, свои дубравы в пойме Пры? Вам ответят, что так уже было не раз: «У каждой эпохи свои вырастали леса». Действительно, подавляющее большинство мещерских лесов – дело рук человека. Но лишь наивному кажется, что рубить и вывозить лес, даже восстанавливая его, можно до бесконечности. Это раньше дерево падало, возвращая земле отобранное у нее. Теперь вместе с сосновыми и еловыми стволами вывозятся минеральные соли, микроэлементы, которыми была богата лесная почва. Без них туго придется новому поколению, а чтобы

вернуть утраченное, природе нужны сотни лет!

Выход один – не давать земле истощиться, подкармливать ее удобрениями, как это делается, например, в Швеции. Что-то не слышно о подобных массовых опытах в Мещере. Не грех бы вспомнить, что неповторимость ее лесов рождается не из воздуха, конечно...

А сколько проблем с уходом за лесами! Многое из того, что недавно было святым для любого лесовода, становится необязательным, а то и вовсе изгоняется. Как мрачно пошутил знакомый лесник, рубки ухода превратились в рубки дохода.

Мне очень понравились слова из прочитанной недавно книги: плоды трудов настоящего лесовода оценят не вдруг и не по высоте дымовых труб на дворе лесхоза, а по состоянию подопечных лесов спустя много лет.

Но не преувеличиваем ли мы значение мещерского леса? Разве менее уникальны, к примеру, сибирский или карельский? Все это так, но у Мещеры помимо признанной красоты есть особые заслуги перед всем нашим народом. В тяжелые годы Великой Отечественной она, по существу, первой вступила в бой, помогая тылу вращать турбины электростанций, обогревать замерзающие цехи оборонных заводов, производить порох для фронта и бумагу для листовок подполья, восстанавливать разрушенное войной, давая крышу, свет и тепло. За мещерским лесом не надо было идти за тридевять земель, потому он был мобилизован полностью, без ограничений, с первого и до последнего дня большой народной войны.

Сегодня мы с великой бережностью относимся к людям, прошедшим через огни сражений. Так не забудем и еще одного ветерана минувшей войны – не знающий передышки мещерский лес...

Путешествие 4-е



Царством лесов Мещеру называют справедливо. Но приезжайте сюда весной, и вы убедитесь, что это еще и царство воды. Глядишь – очнулись от спячки болота. Взбухли и раздались вширь реки. Ручейки, раззадоренные талой водой, превратились в бурные потоки... Близко лежащие озера сомкнули берега и стали морями. В такую пору, как говорится, «и царь воды не удержит».

Вешняя вода промывает закисшую за долгую зиму Мещеру, уносит все временное, ненадежное, истлевшее.

Судьба мещеряка во многом зависела от воды. Реки соединяли деревни и торговые села. Озера снабжали рыбой и водоплавающей дичью. Болота поставляли первоклассную ягоду и топливо. Многочисленные ключи утоляли жажду. Все это в какой-то степени опровергало известную поговорку: «Где много воды, там жди беды». Хотя, конечно, вода доставляла не одни только радости. То паводок унесет мельничное колесо, то гиблое болото отнимет заблудившуюся лошадку или поживится беспечным грибником. Разная она

бывает вода – и живая и мертвая...

Главная река Мещерского края – темноводная Пра. Она берет начало в озерах и петляет по лугам, болотам и лесам до встречи с Окой. Ее русло непостоянно. Сотни заводей и рукавов могут запутать кого угодно. Но нет, наверное, в европейской части страны реки более девственной и живописной. Труднопроходимые болота, малолюдье спасают реку от загрязнения. Вода в ней чиста как слеза. В былые годы по Пре сплавляли лес. До сих пор на ее дне дремлет немало топляка.

Длина Пры – 167 километров, а если соединить все речки рязанской Мещеры в одну, получим голубой большак длиной 1100 километров.

В среднем течении Пры немало озер, обязанных своим происхождением и самой жизнью замечательной реке, ее спокойному характеру. Все эти водоемы мелководны и проточны. Но, конечно, озера захирели бы, если бы не окрестные болота, «подпирающие» их в засуху.

Об озерах стоит сказать особо. Как драгоценные камни в дорогой зеленой оправе, они разбросаны по всей мещерской стороне. Расположенные большей частью группами, они поражают красотой и разнообразием. Здесь есть озера с голубой, белой, черной и желтой водой. Глубокие и мелкие, с песчаным и затянутым илом дном, огромные и карликовые – на пять весельных взмахов. Скажем здесь лишь о некоторых.

Озера Святое, Имлес, Дубовое, Пихарево, Шагара, Сокорево, Мартыново, Русаново, Белое, Лебединое составляют систему озер реки Пры. В половодье их зеркала сливаются в одно площадью 230 квадратных километров. Это 230 миллионов кубометров воды. Самое красивое и уникальное озеро – Белое у села Белого Клепиковского района. В нем чистая артезианская вода. Оно небольшое, но глубокое – в иных местах свыше 40 метров.

Самое большое озеро Мещерского края – Великое в Клепиковском районе. Площадь его зеркала даже летом составляет 20 квадратных километров. Правда, глубиной оно похвастать не может – метр-полтора. Дно буквально забито сапропелями.

Памятниками природы объявлены озера Ивановское (древнего, ледникового еще происхождения, пристанище водоплавающей птицы), Сокорево, Чебукино, Мартыново, Беленькое, Урцево (здесь селятся бобры, выхухоли, ондатры).

Нельзя не вспомнить и о знаменитых мещерских болотах, хранителях воды, торфа и клюквы, – их что-то около тысячи. Больших и малых, верховых и низинных.

Я ничего еще не сказал о родниках. Но об этом – наш первый рассказ...

Родник

Чтобы почувствовать всю силу российских родников, надо побывать в пустыне. На краю одного такого песчаного царства, именуемого Каракумы, я жил в детстве и хорошо помню, как в наш поселок возили воду на верблюдах. В начищенных пустынными песками флягах вода сильно нагревалась за время перехода, мутнела и дурнела на вкус. Фляги закапывали глубоко в песок. Когда нужна была вода, брали лопату и шли к большой яме в центре поселка. Это называлось «сходить к роднику».

Жесткое южное солнце заставляло людей живо вспомнить прохладу русских лесов и спрятанные под их пологом хрустальные ключи, желаннее которых, казалось тогда, и не было на свете...

Переехав в город, окруженные комфортом, мы позабыли об этих маленьких

поильцах. У каждого в доме есть свой, всегда готовый к услугам родник. Открывай кран и бери вдоволь воды. Известно: когда чего-нибудь в избытке – цена тому падает.

Сейчас уже никому не придет в голову идти за несколько километров к спрятавшемуся в лесах или полях роднику, чтобы утолить жажду. Действительно, если только напиться – путешествовать за тридевять земель, может, и не стоит. Хожение к роднику обретает смысл, когда надо утолить жажду душевную.

Однажды утром мы добрались до Сынтула – мещерского поселка, известного своим чугунолитейным заводом, а теперь еще и спортивной базой на озере, которую давно приглядели гребцы не то что республиканского, а и международного ранга. Механик базы, Борис Егорович Максимов, и вызвался проводить нас к роднику, о котором ходят по Мещере легенды. Сам он уроженец здешних мест и к роднику бегал еще мальчишкой.

Долго шли лесом, сворачивая то на одну тропинку, то на другую. Тут мы и оценили нашего провожатого: незнающему человеку легко заплутать. Но вот лес расступился, и взору открылись поля, рассеченные оврагами и овражками. В одном из них и притаился Алешинский родник. В старину его объявили святым: зимой он никогда не замерзал, а вода, взятая из него, месяцами стояла в бутылках и не портилась.

На дне небольшого оврага, заросшего ивняком и низкорослой березой, мы увидели ветхую деревянную избушку. Прямо из-под ее порога убежал в кусты проворный ручей, в разные стороны расходились нахоженные тропинки. Распахнули низкую дверь и заглянули внутрь избушки. В одном углу расставил короткие ноги стул, в другом возвышался медный светильник. В пол был встроен колодец: следом за деревянной «рубашкой» шла белокаменная кладка. Открыли крышку и увидели близкое песчаное дно. Вода оказалась настолько прозрачной, что глазу ее почти невозможно было заметить. Лишь тонкий солнечный лучик, пробившийся сквозь щель в потолке, блестящим пятачком лежал на самой поверхности, указывая на драгоценную влагу.

Мы напились родниковой воды и сели на пригорке у березы. Помолчали, размышляя о том, какая крепкая связь в этих известных всем нам словах – родник, родное, родина...

Уходя, взяли с собой немного воды из Алешинского родника. Месяца полтора простояла дома бутылка. Однажды я открыл ее и из любопытства сделал осторожный глоток. Сомнения были напрасными – вода надежно хранила серебряную чистоту.

Мы свято чтим родники, подобные Алешинскому: ведь эти самородные ключи – многому начало. Из такого же вот родника рождается великая Волга. И Ока тоже. Многие русские начинаются с родника...

Остров

Есть в Мещере свои Венеции. Человек там всю жизнь не расстается с веслом. Рассказывают, что один из жителей Подсвятья появился на свет в лодке: роженицу не успели довести до берега.

И в последний путь тут уходят тоже по воде – погост на другой стороне реки...

Крученое русло Пры, озера и болота в незапамятные времена родили этот маленький остров – километра три длиной и с полкилометра шириной. На нем и расположилась деревенька Подсвятье.

Вода здесь кругом, и, когда налетает ветер, кажется: поставь только

хорошие паруса – тронется, поплывет неведомо куда зеленый остров.

– Так это сколько ж материи надо...– вполне серьезно откликнулся на мою метафорическую догадку дед Алексей, перевозивший нас через реку.

Несмотря на преклонные лета, весло дед держал крепко и был как-то угрюмо спокоен, как старец Ха-рон. Только дело имел он с живыми душами и отчаянно дымил махорочкой.

К острову мы подходили извилистыми коридорами, прорубленными в густой куге, поэтому деревня открылась не сразу. Сначала мелькнули железные крыши, верхушки яблоневых садов, поставленные на кривые жерди антенны. Потом мы увидели избы, а перед ними – крошечные баньки, которые сгрудились у реки, как жеребята в жаркий полдень.

Даже в самое малое половодье деревня стоит в воде, и волна долгожданным гостем стучится прямо в двери. Зимой же река долго не замерзает, лед на ней хрупок и опасен. Но когда уж крепко встанет, про него говорят не иначе, как «мост».

Мал остров, мала и деревня. Чуть больше двадцати дворов, разделенных на три хутора. Кто и зачем делил – неведомо. Видно, жили здесь когда-то три семьи, а от них-то и пошло все Подсвятье. Сейчас вам не скажут, как называется каждый хутор, потому что надобности в особых названиях нет: все рядом, все связано набитыми тропинками, и не угадаешь сразу, где околица одного хутора и начало другого. И живут здесь открыто. Чего ж тут спрячешь от соседских-то глаз! Да и стоит ли прятать?

На острове нас угостили отменными яблоками. Они висели возле каждого дома на коротких и сильных ветках. Яблоки мог рвать любой и в любом месте. Нет в деревне ни сторожевых псов, ни крепких запоров.

Мы приплыли в воскресенье, когда Подсвятье отдыхало от трудов праведных. Мужское население острова с утра промышляло рыбу и чирков: из-за молодого сосняка долетало раскатистое эхо выстрелов. На рыбную ловлю или охоту отправляются почти всегда артелью и плывут, конечно, не на утлых долбленках, а на моторках, не опасаясь шума, к которому, как считают подсвятьевские мужики, привыкли давно и рыбы и птицы.

Старики этой ревущей техники не признают и держатся за старое: каждую весну смолят узкие, почерневшие от воды лодки и на них плавают по своим нуждам – в магазин, за почтой или за сеном для коровы.

Сено здесь плохое. Какие же в Подсвятье луговые угодья! Косят на болотах осоку и сушат ее в стогах, стоящих... на воде. Нет сухого места, так здешние косари нашли неожиданный выход: рубят топором упругую речную кугу и сплетают из нее над водой настил.

Чудно... Посмотришь на реку и вдруг увидишь плавающие островерхие стога!

Итак, было воскресенье. Островитянки в этот день, по обыкновению, играли в лото. Они расположились на траве под ракитой, разложив перед собой полинявшие картонные карточки. Почтальон тетя Маша лезла рукой в холщовый мешок, вытаскивала деревянный бочоночек и громко выкрикивала цифру, а остальные прилежно закрывали квадраты разноцветными пуговицами.

. Мы присели на скамеечку рядом, где грелась на солнышке бабушка Анастасия. Она не участвовала в игре, потому что было ей не до того, нежданно-негаданно свалились на нее три горя.

Первое заключалось в том, что давно прохудилась крыша и некому ее теперь подправить. Мужиков, способных держать топор, в Подсвятье раз-два и

обчелся. Все они на строгом совхозном учете – каждый день находится срочная работа. Хотел по-соседски помочь один дед, да чуть не свалился с крыши, а потом с неделю лежал больной.

Второе горе оказалось связанным с письмом, которое должно было прийти со дня на день, но все не шло. Письмо бабушка Анастасия ждала от дочери. Хотелось узнать, как там внучата.

Было и третье горе.

– Повадились в мой огород зайцы бегать – гибель их сколько, всю капусту общипали, – сокрушалась бабушка Анастасия. – Но я не поддаюсь. Поставила русалку, они и сбегли. Да боюсь, вернуться...

Оказалось, что «русалкой» в этом озерном краю называют обыкновенное пугало. Его бабушка снарила из старой поневы, заношенной кофты и шарфа, оставленного несколько лет назад дочерью, приезжавшей в гости. Липовое мочало заплела в косы, полагая, что после этого зайцы окончательно поверят в ее обман.

Древнее бабушки Анастасии на острове никого нет. Она помнит те времена, когда в Подсвятъе было много народу, играли свадьбы, а те, кто еще мечтал о суженом, бросали в реку венки: если не утонет – быть счастливой...

Остров долго оберегал себя, пользуясь особым своим положением. Но время шло, и тихо, незаметно растворялись островитяне в обступавшей их со всех сторон новой жизни. Пустели хутора, зарастали сады, и теперь едва ли наберется больше десятка справных усадеб. Остальные забила глухая крапива, под белесыми окнами покосившихся изб буйно разрослась, бесполезно осыпая ягоды, ежевика.

Вот и Сашка Макаров, с которым мы год назад самодельными удочками ловили на зорьке нетерпеливых окуней, подался в чужие края. Он много знал и умел, этот парень: свободно разбирался в тракторах, метко стрелял из старенькой двустволки, с закрытыми глазами мог пройти запутанными протоками к самым рыбным местам, починить колодец, в который, как в холодильник, опускали свежую рыбу в большом полиэтиленовом мешке.

Рядом с его домом протекал малый ручей. Он и сейчас бежит под лопухами, торопясь попасть в Пру. Сашка всячески оберегал его родниковую чистоту.

В большом нашем мире следствие не всегда идет рядом с причиной. И результаты наших дел, плохих или добрых, могут проявить себя не сразу. В стремительном потоке событий мы и вовсе рискуем их не заметить. На острове, если ты сегодня затопчешь ручей, завтра негде будет напиться.

Конечно, Санька не думал о таинственном переплетении причин и следствий. Он брал лопату и чистил безымянный ручей, обкладывая камнями то место, откуда бил тихий родник.

С уходом Саньки остров будто осиротел. Но маленькое Подсвятъе верит: грядут для него иные, добрые времена.

...Садилось солнце. Во все глаза смотрели на него из палисадников рыжие подсолнухи. Редко мычали

коровы. На другом берегу играла радиола. Кто-то заводил моторку.

Наши знакомые островитянки перебрались на крылечко, где посветлее. Но возвратились с рыбалки мужья, надо было чистить рыбу, и тетя Маша унесла с собой холщовый мешочек с лото. До следующего воскресенья...

Зажглись в избах огни, запахло рыбьими потрохами, заурчали деревенские коты. Скоро и церковь на противоположной стороне Пры, отчетливо видная днем, пропала в вечернем тумане.

Нас принял пахучий сеновал. Внизу под нами возился поросенок, дожевывала осоку корова. Потом стало по-ночному тихо.

Стоя на берегу, движение воды в Пре не заметишь. Но если войти в реку, окунуться в ее темную воду, то сразу почувствуешь упругий, изменчивый поток.

Течение жизни в таких деревеньках, как Подсвятье, тоже трудно приметить со стороны. Надо обязательно войти в реку...

Голубая межа

Если Пра – главная река Мещеры, то Ока – ее большая голубая межа. Переплыви реку с высокого правого на низменный, податливый левый берег – она и начнется, знаменитая мещерская сторона. От Коломны и до Мурома охватывает Ока полукольцом мещерские леса, луга и села. Это добрые сотни километров.

Михаил Михайлович Пришвин назвал Оку самой русской из всех русских рек. Может, и действительно так. Есть в ней что-то и от удали Волги, и от задумчивой плавности Дона, и от щемящей незащищенности малых речек и ручейков. Несомненно, что текут по России реки красивее этой, но берет Ока какой-то своей деревенской простотой и доступностью. Живет она скромно, без претензий, не удивляя никого и не очаровывая, но и не давая затягиваться илом изменчивому руслу памяти о всем русском.

У Оки характер открытый. Несет она свои воды по равнине, оставляет плесы и перекаты, заводи и рукава. Богата река старицами – древними руслами, от которых отвернулась ее неразгаданная душа. Есть места, где река долго хранит прямизну, а есть и такие, что только успевай поворачивать, как под Кочемарами, например.

Весной воды Оки раздольно заливают низины, расходятся в ширину километров на шесть, а то и больше. Когда зацветают пойменные луга и одеваются зеленью стоящие на высоком правом берегу леса, река начинает мелеть и в межень похожа на истомившегося путника, с трудом передвигающего ноги. Хмуро и холодно бежит окская вода осенью, а зимой река словно исчезает под толстым слоем льда и снега, пропадает надолго, до самой весны.

И все это время с рекой накрепко связана жизнь тысяч и тысяч людей. Плывут по Оке теплоходы, груженные баржи, катера. По трубам уходит вода на соседние с рекой поля, чтобы пролиться благодатными дождями. Поит река большие города, которые без нее просто умерли бы от жажды. Не забывают Оку рыбаки. Летом и зимой берут они с нее серебристую дань. Приходят к реке и без особой хозяйственной надобности. Это те, кто не отвык еще удивляться красоте.

Всех встречает и всем угождает река. Потому и любима, тем и сильна. Трудно не согласиться со словами известного историка Ключевского: «С рекой русский жил душа в душу. Он любил свою реку, никакой другой стихии не говорил столько ласковых слов. Река является даже своего рода воспитателем чувства порядка и общественного духа в народе. Она объединяет...»

Мой знакомый речной капитан, парень еще молодой, когда заходила речь то ли о его товарищах, то ли о тех, кого он знал на берегу, говорил: «Мы, окские». Этим он подчеркивал родство всех, так или иначе связанных с Окой. Получалось, что и родиной многих из этих людей были не только какие-нибудь Михалево или Копаново, но и река.

Это, наверное, хорошо – быть родом с реки...

Однажды капитан уговорил меня пойти с ним в плавание, чтобы познакомиться с одним из таких преданных Оке людей – бакенщиком с острова Медвежья Голова. Я согласился, и мы вскоре отчалили на труподу-буксире, державшем курс вниз по реке на Муром. Буксир был маленьким тупоносым существом. Такие в народе обидно зовут «утюгом», но молодой капитан им гордился, как собственным сыном, заставлял команду в свободное от вахты время до блеска чистить металлические части и вообще следил за порядком. Так что «утюг» был всегда опрятен и как-то по-домашнему уютен. И, честное слово, на нем я чувствовал себя спокойней, чем на аристократическом морском лайнере, на котором несколько лет назад пришлось путешествовать по Балтике.

Плавание шло отлично, но за Шиловом я передумал и решил отправиться к острову пешком. Была пора большого сенокоса. Мне и захотелось подышать чистым воздухом окских лугов...

Я сошел на левом берегу и до переправы в Терехове добирался на попутках. Ехали нескончаемыми заливными лугами, в которых, казалось, так же немудрено заблудиться, как и в дремучем лесу: вольных дорог наезжено без счета – попробуй угадай, какая из них твоя.

Пропали привычные ориентиры: старое дерево, пригорок, хутор. Горизонт казался близким, да ведь за него не заглянешь! Мы ехали словно по дну гигантской зеленой тарелки. Трава стояла по пояс, в три яруса. Раскачивались на ветру колоски тимopheевки, метелки овсяницы, их подпирала, словно поддерживала, густая щетина низкорослого лугового мятлика; разгулялись, разлеглись густые клевера, раскрыл свои зонтики бедронец, выгнул длинную шею пурпуровый василек. Казалось, сверни мы с накатанной дороги – встанет машина как вкопанная.

Сказочно богаты заливные окские луга, как говорится, «не сеяно, не полото зеленое золото». Не зря пойму Оки сравнивают по плодородию с поймой Нила. Еще в XVI веке, путешествуя по Оке, немецкий барон Герберштейн так писал о реке: «Все поля, орошаемые ею, чрезвычайно плодородны... Эта область самая плодоносная между московскими провинциями: в ней, как говорят, одно зерно дает два и более колосьев, которые растут так часто, что лошади с трудом проезжают по ним и перепелки едва могут из них вылетать».

...К переправе мы добрались под вечер. Паром как по заказу стоял у деревянного причала. Но отплытия пришлось подождать, и только когда мы вдоволь насмотрелись на бегущую воду, вспыхнувшие звезды, своим блеском предвещавшие хорошую погоду, был наконец освобожден причальный канат, и паром, по

драгивая, тронулся и медленно пошел поперек течения. Запах тины и рыбы смешался с вечерним туманом, который был похож на занавес в стареньком деревенском клубе. Сквозь него проглядывали излуцина реки, песчаный мысок, стоящая на взгорке церковь.

Паром тихо ткнулся в причал: развешанные по бокам автомобильные шины смягчили удар. Приехали. Поползли одна за одной машины, освобождая место другим, ждавшим на высоком правом берегу.

Терехово было трудно различимо, но огни последних грузовиков показали дорогу. От переправы до села – километра полтора. Если б не нужда пораньше устроиться с ночлегом, можно было бы посидеть на берегу реки. Послушать гудки проплывающих мимо судов, плеск рождаемых ими волн. Подышать свежим в жаркую июльскую ночь запахом лугов и попытаться угадать ночные звуки: чей всплеск, чей писк или крик?

Мы почему-то отказываем себе в удовольствии понаблюдать ночное бдение реки или, скажем, леса. Отдаем предпочтение раннему утру, вечеру, полдню. Мы безоговорочно соглашаемся с классическими фразами типа «ночью, когда все спало кругом...». Все спать не может и не должно. Только надо уметь настроить слух, обоняние и то шестое чувство, которым обладает, несомненно, каждый из нас, и тогда нам откроется равная дневной жизнь.

Говорят, молодой Тютчев любил бродить по лесу вблизи сельского кладбища, когда начинали сгущаться сумерки. Он собирал душистые ночные фиалки. В тишине и мраке их благоухание наполняло его душу «невыразимым чувством таинственности» и погружало в состояние «благоговейной сосредоточенности». Как знать, сколько блестящих поэтических строк родилось в те благотворные ночные часы.

Природа не ложится, как мы, спать, и «полуночников» среди птиц, растений и животных больше, чем среди людей...

Впрочем, надо было спешить устроиться в Терехове, где я никого не знал. Дорога пошла в гору. Справа и слева засветились окна домов. Час был поздний, но в селе не спали, потому что только-только вернулись с ближних покосов косари. На дальних ночевали в палатках и шалашах. Там сейчас горели костры и варился на всю луговую братию поздний ужин.

Мне посоветовали встать на временный постой к Калинкиным. Они жили в доме, который я еле отыскал у небольшого, как позже выяснилось, сыродельного заводика. Глава семейства Дмитрий Алексеевич оказался главным сыроделом. Его жена Александра Ивановна работала на том же заводе.

Немудрено, что, дожидаясь ужина, в маленькой семейной библиотеке я нашел книжку о сыре и стал ее перелистывать. Вот что успел там вычитать, пока хозяйева дружно хлопотали на кухне.

Сыр – изобретение древнейшее. Он упоминается в списках, составленных несколько тысячелетий назад. Даже мифологические боги Олимпа не прочь были полакомиться вполне прозаическим козьим сыром. В знаменитой «Одиссее» Гомера пленники циклопа наблюдали, как:

Сел он и маток доить принялся надлежащим порядком,
Коз и овец; подоив же, под каждую матку ее он
Клал сосуна. Половину отлив молока в плетеницы,
В них он оставил его, чтоб оно огустело для сыра...

Аристотель и тот не удержался от того, чтобы не описать технологию приготовления сыра.

Первый сыродельный завод в России был создан в 1795 году в имении князя Мещерского в Тверской губернии. Признаться, с некоторым удивлением я узнал, что одно время сыр типа эмментальского называли мещерским, он пользовался большим спросом. К сожалению, секрет его приготовления был утерян.

И все же началом промышленного сыроделия в России считается 1866 год, когда в селе Отроковичи Тверской губернии была открыта первая в стране артельная сыроварня. Это событие связано с именем брата художника-баталиста В. В. Верещагина – Николая Васильевича, о котором можно с полным правом сказать, что он был первым русским сыроделом.

Успел прочитать еще о том, что сейчас в СССР вырабатываются сыры более ста наименований.

Хозяйева позвали к ужину. К нему, конечно, был подан голландский сыр. И разговор зашел все о том же: когда в Терехове завелось сырное дело и какое

он, Дмитрий Алексеевич, имеет к этому отношение.

Вот что рассказал о себе сыродел Калинин:

– Родом я из этого села. Родители были крестьянами. С малых лет пас в колхозе телят, возил на лошади на завод молоко. Потом, когда окончил школу, работал на заводе лаборантом. И так складно получилось, что крутился я сначала вокруг коров, а потом все вокруг молока. Послали меня в тридцать восьмом на курсы мастеров в Можайск. Наверное, про можайское молоко слышали? И я слышал и пивал, конечно. Отучился положенное – направили в наш шиловский совхоз «Пролетарский». Был там тогда маленький молочный заводик. Гнали один творог.

Только вышла вскоре война, и на третий день я попал на фронт, под Оршей принял боевое крещение. Сначала был старшиной пулеметной роты. Воевал как мог. Но очутились мы в окружении, а когда из него с боем вырвались, попал в артиллерию. Бились под Москвой. Потом Сталинград пришлось оборонять. Года четыре назад ездил туда. Ходил по тем местам. Вспоминал. Себя, ребят наших... Жуткая это штука – война...

Был на Курской дуге. Под Белгородом дали фашистам жару и встали полком в обороне. Помню, лежишь иной раз в окопе, махру тянешь, а сам про себя думаешь: сейчас бы молочка попить, нашего, тереховского. Тогда я уже был командиром 76-миллиметрового орудия.

В сорок третьем на станции Маево в первый раз ранило. А до этого бог, как говорится, миловал, ни одной царапины. В сорок четвертом, когда форсировали Западную Двину, срезали меня еще разок, а под Ригой – в третий, последний. Моя война кончилась. В Терехово пришел в декабре сорок пятого. Думал, чем теперь заняться? Повстречались как-то знакомые из Ижевского, уговорили пойти к ним на молочный завод. А я уж позабыл все на свете с этой войной. Поступил на курсы переподготовки. Послали в Путятино технологом. Потом на других заводах работал, а тут попал в Елатьму, есть такой в Мещере поселок, на сыродельный завод. Здесь-то с сыром в первый раз и столкнулся. Там, в Елатье, на четырнадцать лет и застрял...

Вижу – дело к старости, надо в родные края перебираться. С женой решили твердо: будем жить в Терехове. Место знакомое, вольное. Был и молзавод, тот, что у нас сейчас за огородом. Но сыром здесь не занимались. В старину когда-то, конечно, сыры делали. Как же не делать, когда у нас такое молоко знаменитое. Еще до революции славились на всю Россию чикинские заводы. Стояли сплошь по Оке, по пойменным лу-

гам. Были от них кустари и в нашем Терехове. Брели от коров молоко, собирали в чан, заквашивали сычужным порошком. Получали сырную массу и раскладывали в самими же сработанные деревянные формы, прессовали и в подвал – созревать. Месяца на два с половиной. Тут за сыром тоже глаз нужен: может заплесневеть. Вот его и мыли. Работа незавидная, чего говорить. Но сыры выходили такие, что нестыдно было отправлять в Москву. Их там хорошо брали. А все потому, что из тереховского молока. Раньше сборщик по селу ездил с деревянной ложкой за ухом. Звали его Мишка-дегустатор. Принесут ему на пробу молоко. Он в крынке ложкой своей поболтает и пьет. Чуть не тот вкус – отходи, паси корову лучше, заветный лужок подбирай. Самые хорошие сыры шли из майского, июньского молока. В июле и в первой половине августа сыр не делали. В это время молоко плохое, в вымени от жары перегорает.

Когда в Терехово перебрались, надумали с женой сыроварню на молзаводе

наладить. Кое-что перестроили, оборудование завезли, народ обучили. Пошло дело! Хвалиться не хочу, а сыр наш голландский держал первое место в области. Диплом получили на Всероссийском конкурсе. Мне вот орден Трудового Красного Знамени дали. Не во мне, конечно, дело. Всё луга наши, луга. А их, известное дело, Ока кормит...

На другой день я снова был в звенящих косами лугах. Потревоженный лунь кружил над нами, напружинив крылья, на выпасе мотали гривами кони, от Оки до горизонта разбегались стога. Картина, способная вдохновить любого.

Во второй половине прошлого столетия влюбленный в русскую природу Д. В. Григорович писал об Окской пойме: «Море душистых цветов и растений разливают в вечернем воздухе свое благоухание. В знойный полдень пестрое цветное море словно зыблется и переливается из края в край, хотя ветер не трогает ни одним стебельком... Если вид этих лугов не порадует вашего сердца, если душа ваша не дрогнет, но останется равнодушной, советую вам пощупать тогда вашу душу, не каменная ли она».

Понятное дело, в страдную пору людей волнует не только живописность лугов, но и сугубо практическая сторона дела. Грех упустить первоклассное сено, с которым по качеству вряд ли сравнится какое другое. Сена, добываемого на кочемарских лугах, за глаза хватает не одному колхозу. Да и то вряд ли когда-нибудь все выкашивали без остатка.

В сенокос, считай, вся Мещера едет на поклон к окским лугам. Разве болотная осока сравнится с духмяным разнотравьем! «Это сено – второй овес», – говорят приехавшие косари. И не беда, что зимой надо будет перевозить стога за многие километры, – овчинка выделки стоит...

...Река вывела меня к заводи, на краю которой расположился целый поселок из шалашей, крытых ивовыми ветками. У двух коротконогих лип устроена была коновязь, а под раскидистой ракитой – временная столовая: грубо сколоченный стол, скамейки, костровище. В двух огромных, похожих на богатырские шлемы котлах что-то варилось. Чуть в стороне, подалее от кострового жара, сидел на перевернутом ведре повар. Задумчиво посматривал в котлы, покуривая папироску. Въевшаяся в кожу рук сажа ясно говорила о том, что подобное дежурство у него не первое.

Так и оказалось.

– Раз ребятам борща сварил, они мне говорят – бросай косу, кошеварствуй. Мы за тебя помахаем, а ты уж будь при котлах. Так вот третий покос – кто с косой, а я с поварешкой...

По всему было видно, что повар в душе рад своей «котловой доле». Кормить сорок человек – это тоже, я вам скажу, не шутка...

К обеду варилась уха. Судя по запаху – настоящая, без подвоха. Сделанная так, как могут сделать только люди бывалые, в рыбных делах искушенные. Повар был человек речной, местный, с мальчишества уходивший на зорю с самодельными удочками, кормивший сначала окрестных котов, а потом и всю многочисленную родню. Ему ли было не знать, как готовить уху, когда и чего добавить, в какую минуту пену снять, чтобы навар не испортить...

Где-то через полчаса послышались голоса: шли к обеду разгоряченные спорой работой и жарким июльским солнцем косари. Шумно расселись за широким столом. Когда в мисках задымилась уха, народ радостно ахнул: это после-то шей да борщей!

– Ты, что ли, Федор, набраконьерил?

– Какой там! На вас какую сеть надо – во всю

Оку. Местные ребяташки шефство взяли. Целой ротой утром и надергали.

Навались, остынет...

Дружно застучали казенные ложки. Уха получилась на славу. И славу эту вместе с «пожизненным» поваром Федором по праву делила Ока, попотчевшая косарей лещом и плотвичкой, окунем и ершом...

Мне снова не повезло, и к Нармушади, деревне, где жил бакенщик Шомов, я добрался только глубоким вечером. Постучал в дом. На стук сначала никто не ответил. Тихо. Потом замычала в хлеву еще не подоенная, видно, корова. Повторил стук. Тяжело ступая по охающим половицам, вышел хозяин. Я передал привет от нашего общего знакомого капитана, и меня пригласили в дом.

Иван Фролович, озабоченный, встревоженный, только что вернулся из больницы, где лежала жена. Дело на поправку двигалось медленно. Жена Шомов очень жалел, и дом без хозяйки казался ему пустым и ненужным. К счастью, приехал на каникулы сын-студент, все не так тягостно. Я встретился с Николаем, когда он с ведром вышел во двор доить заждавшуюся, с разбухшим выменем корову. Среднего роста, приветливый парень, от которого исходило ощущение уверенности, надежности. «Не знаю, чего я там по службе достиг, – сказал мне позже Шомов, – но сыновей я вырастил крепких, и Кольку, и Витьку, и Михаила. На них можешь положиться, как на мои бакены. Уж если в чем мелко плавают – не сокрут, а где глубоко – рассчитывай смело, не сомневайся...»

Рано поутру Шомов запряг лошадь по кличке Мальчик, попрощался с сыном, и мы отправились на Медвежку, как зовут нармушадские остров Медвежья Голова. Долго ехали вдоль реки малоезженной дорогой и остановились как раз напротив острова. Спустились к воде. Ее в Оке было в такую жару немного, ближний бакен приветливо раскланивался почти на середине реки. Шомов привязал к корме старой лодки конягу, сел на весла. Мальчик привычно ступил в прогретую воду и поплыл за нами, высоко задрав морду. В путешествие увязался пес Жулик. Черный, с белыми ободками вокруг глаз, беспородный, он занял почетное место на корме. Жулик держался с достоинством заслуженной собаки. Однажды в большое половодье в поисках уплывшего на лодке и не вернувшегося к обычному часу хозяина он проплыл в ледяной воде добрых де-сять километров, пока Шомов чудом не увидел и не вытащил выбившуюся из сил собаку.

Путь на Медвежку Иван Фролович проделывает больше тридцати лет. После войны был капитан-механиком, водил по Оке суда с береговой обстановкой. Как-то по весне причалил к острову Медвежья Голова, да так там и остался. С молодой женой, в маленьком, из плавника построенном домике.

Он стал бакенщиком. Что это значило в те послевоенные годы? Каждый вечер надо было зажигать бакены: чистить стекла стоявших на них керосиновых фонарей и чиркать спичкой – гори, указывай дорогу. А с рассветом гасить их. Тридцать деревянных бакенов. Зажги, погаси. Зажег – пришел вечер, погасил – наступило утро. Помните фонарщика у Экзюпери?

Каждый день следовало промерять глубину реки на своем участке. Ведь бакен сам по себе – всего лишь бесполезный поплавок, если его не поставить таким образом, чтобы он обозначал для судов верный путь. Сложность в том, что глубина меняется постоянно. Приходилось Шомову с шестом-наметкой не вылезать из лодки: самый дальний пережат на участке бакенщика был от Медвежьей Головы в шести километрах.

Чтобы островитяне не чувствовали себя оторванными от мира, начальство

выделило им детекторный приемник «Комсомолец». Ночами, когда зажигались на реке рукотворные звезды, Шомовы слушали голос Москвы.

Здесь, на острове, среди лугов и ракут родились у Ивана Фроловича три его сына. Шомов иногда в шутку называл их так – «луговые дети»...

Причала на острове нет. Лодка легко выскочила на песчаный берег. Натянулись привязанные к корме поводья. Мальчик нащупал копытами дно и вышел из воды, снова готовый нести береговую службу. Жулик опрометью бросился к стоящему на сваях дому бакенщиков, втайне надеясь, наверное, что за воемя его отсутствия в заветную миску упала не одна добрая кость. Шомов стал прилаживать лодку к торчавшему из песка ржавому крюку. Для каждого начиналась привычная островная жизнь.

Остров был невелик – обойти вокруг можно при желании меньше чем за час. Назвали его Медвежьей Головой сравнительно недавно, потому что кому-то очертания острова напомнили голову зверя. Рассказывают, что последнего медведя здесь встречали, по крайней мере, лет сто назад, но название прижилось, и теперь на всех лоциях там, где Ока разменивает свой 498-й километр, отмечена Медвежка.

По краям остров зарос густым ивняком, а в центре, как плешина, устроился небольшой луг с пересыхающими к середине лета болотцами. Трава на нем небогатая, но и отсюда берут бакенщики на свои нужды сено. Небезызвестный нам Мальчик, например, питается зимой с того же «стола».

Мы с Шомовым сели на скамеечке возле домика бакенщиков – этого своеобразного наблюдательного поста на реке, и он начал рассказывать о своей службе нынешней. Перечисляя последние достижения, он загибал пальцы: «Фотоэлементы гасят и зажигают ба

кены – раз, глубины меряет эхолот – два, связь по всей реке отличная – три, есть свой маленький теплоход – четыре, по вечерам теперь по реке ходить не надо и зорю проспять вполне можно – пять...» Последние слова Шомов произнес так, что нельзя было понять, куда зачислять это новшество – к достижениям, а может, к потерям.

Бакенщик стал вспоминать, как недавно сцепился с изыскателями. Он все требовал у них расчистить один перекат, на котором не выдерживалась гарантированная судам глубина в два метра. Мерил Шомов – у него выходило метр восемьдесят, мерили изыскатели – получалось два. Бакенщик стоял на своем, и весть о коварном перекате и жарком споре докатилась до начальства. Шомова вызвали «на ковер»: ты что ж, говорят, воруюшь воду? А тот пригласил начальство прогуляться по реке и убедиться в его правоте. Начальство сделало замер собственноручно, и спор выиграл бакенщик.

Шомов объяснил: «За фарватер мы отвечаем головой: три раза в месяц проводим траление судового хода, вытаскиваем из Оки камни, топляк, коряги, затонувшие якоря». Здесь я не выдержал и рассмеялся, вспомнив знаменитое чеховское «Общество отыскания и поднятия якорей с речных пароходов и барж». Сказал об этом Шомову, и он тоже оценил чеховский юмор.

...Медвежья Голова – место знаменитое. Не одно лето отдыхал здесь артист Большого театра Александр Степанович Пирогов. Родился он на Оке, в селе Новоселки под Рязанью, и всю жизнь не мог уйти от реки своего детства. Нашел подходящий остров, бакенщики

построили ему маленький дом на сваях. Пирогов каждый год приезжал сюда отдохнуть от столичной суеты. Шомов крепко подружился с певцом. Ловили рыбу, теплыми вечерами пили на веранде чай, смотрели на реку. Иногда разносило эхо по окским плесам могучий голос певца. Тот пел для Шомова

свои любимые песни.

Смерть человека счастливой назвать, конечно, нельзя, но Пирогов встретил неизбежное не в душной артистической уборной, не в московской квартире и не на больничной койке, а на берегу родной реки. На острове стоит большая глыба гранита, на котором высечено: «Здесь, на Медвежьей Голове, 26 июня 1964 года умер прославленный русский певец, народный артист СССР Александр Степанович Пирогов».

...В домике бакенщиков я прочитал запись, сделанную карандашом на стене: «29 октября. Выпал первый снег». Когда-то он выпадет в нынешнем году? Когда-то встанет река?

– Чего гадать, – откликнулся Шомов. – Мы живем не загадывая. Река – она сама скажет. Надо ее слушать...

Болотный генерал

Возле озера Великого мы наткнулись на широкую канаву. На дне ее среди червонно-золотых цветов калужницы и литых листьев белокрыльника поблескивала вода, и мы не рискнули спуститься вниз, а решили обойти неожиданное препятствие. Пошли вдоль канавы в надежде на то, что она скоро кончится или обнаружится какой-нибудь мостик. Целый час продирались сквозь густо посаженный сосняк, пока не поняли наконец, что перед нами тот самый канал, о котором предупреждал знакомый лесник.

Канал был заброшенный: его основательно затянуло илом, а подходы и само русло обросли дудником и осокой, словно корабельное днище водорослями. Он походил на старый шрам, который давно не причиняет боли, но и не дает забыть о прошлом.

Этот канал – столетней давности след, оставленный экспедицией генерала Жилинского, человека во многих отношениях замечательного, первого настоящего мелиоратора России. Какие интересы привели его в Мещеру и почему дело, так славно начатое, покрылось травой забвения? Чтобы ответить на этот вопрос, следует вспомнить историю мелиорации. Без этого не понять ни целей мещерской экспедиции, ни ее поучительных итогов...

Слово «мелиорация» появилось сравнительно недавно, хотя улучшением земель человечество занимается издревле. Родиной мелиорации считают Азию. Еще за две тысячи лет до нашей эры в Месопотамии укладывали подземный дренаж – небольшие гончарные трубки с отверстиями для приема воды. Известно также, что один из вавилонских царей в 1750 году до нашей эры издал специальные законы, которые, думаю, и сейчас не потеряли своей актуальности: за небрежное использование мелиоративных сооружений предусматривались суровые, но справедливые кары.

Вторым древнейшим очагом мелиорации был Китай.

К временам Юлия Цезаря относятся первые осушительные работы на Понтийских болотах – там строилась новая гавань для столицы.

С мелиорацией связано даже имя великого итальянца Леонардо да Винчи. Под его руководством были устроены каналы, превратившие некогда скудные равнины Ломеллины в цветущий край. Орошение, считал Леонардо, – огромное сокровище, способное спасти человека от нищеты.

Знакомы были с мелиорацией и в Древней Руси. Из «Слова о полку Игореве» узнаем, что перед выступлением из Путивля князь Игорь послал вперед своих войск дружину: «...мосты мостить по болотам и грязным местам».

Небольшие каналы, отводившие избыток воды с плодородных земель,

издавна рыли русские крестьяне на севере России. Но начало организованной мелиорации в государственном масштабе относится уже к Петровской эпохе, когда велись работы по освоению побережья Финского залива, строительству Петербурга и других городов и крепостей.

Болот в России всегда было в избытке. Они занимали огромные пространства в миллионы гектаров, равные целым государствам. Заманчивой казалась возможность превратить их в плодородные поля и пастбища. В 1872 году, накануне мирового экономического кризиса, когда срочно потребовались новые земли, чтобы увеличить доходы от сельского хозяйства, при министре государственных имуществ была организована специальная комиссия по осушению болот. Создали две экспедиции: Северную, под началом И. К. Августиновича, и Западную, которую поручили возглавить И. И. Жилинскому.

Время тогда было смятенное. Рушились старые представления о мире, его устройстве и нарождались новые. Миражи будущего России стали приобретать все более ясные очертания. В большом ходу стали слова «революция», «преобразование». Множеством умов безраздельно владел Чернышевский.

Молодой (ему не было еще и сорока), прогрессивно настроенный генерал Иосиф Ипполитович Жилинский не мог не знать пророческих слов Чернышевского о философии будущего земледелия: «Только неутомимое трудолюбие человека может сообщить природе новую, высшую красоту взамен дикой, первобытной красоты, неудержимо исчезающей под его ногами. Человек должен ухаживать за лесами, стеречь их, чтобы сохранить от истребления часть их, нужную для его материальных потребностей и эстетического наслаждения, должен заменить садами другую часть; он должен одеть землю нивами и искусственными лугами взамен не выносящих его прикосновения трав...»

Мелиорация, по мнению Жилинского, как раз и могла сообщить природе новую, высшую красоту, избавить от нужды тысячи и тысячи крестьян. Но так считали далеко не все. Раздавались осторожные голоса, признававшие осушение болот опасным для климата, чреватым многими другими неожиданностями. Не желая игнорировать никаких соображений в столь важном деле, министерство государственных имуществ решило обратиться к признанным авторитетам той поры – академикам Миддендорфу и Веселовскому, а также в технико-инспекторский комитет министерства путей сообщения.

Первым пришел ответ от академика Миддендорфа. По его представлениям, все болота делились на наплавные и ключевые. Если первые мелиорировать можно было без опасений, то осушение вторых, питающих реки, было бы чревато нежелательными последствиями. Но выгоды от осушения ставили это препятствие на второй план. Академик только советовал обязательно сооружать искусственные водоемы для поддержания нужного уровня в реках.

Большинство болот белорусского Полесья, которые выбрали местом первой экспедиции Жилинского, были как раз наплавными. В ответе министерству Миддендорф указал, что не болота, а леса будут регулировать климат: «...в целях сохранения достаточной влаги в воздухе и воды в судоходных реках, надо заботиться не о том, чтобы сохранять болота с вечно парящим над ними призраком смерти, а о том, чтобы беречь и разводить леса, могущие также служить регуляторами для весенних разливов и значительно увеличивать влажность данной страны».

За осушение Полесья высказались и академик Веселовский, и специальный

комитет министерства путей сообщения.

В 1874 году скромная экспедиция генерала Жилинского начала изучение и освоение Полесья. Задача стояла фантастически трудная: преобразить огромный болотистый край, в три раза превышающий по площади, скажем, такую страну, как Бельгия.

Составленный Жилинским проект предусматривал сооружение большого числа магистральных и отводных каналов. Избытки воды должны были в конечном итоге попасть в Днепр. Расходы предстояли немаленькие – 8 миллионов рублей, но предполагалось, что все затраты быстро окупятся за счет повышения плодородия земли. Работы велись без шума, но с размахом, для них были привлечены тысячи солдат и местных крестьян. Первые каналы прорыли уже в 1874 году в Речицком уезде по долине реки Ведлич – притока Днепра. А к исходу 1879 года осушили около 900 тысяч гектаров земли, 140 тысяч из них превратив в луга, где заготавливалось хорошее сено. Газеты того времени писали: «Трудно представить себе восторг крестьян, когда им пришлось косить прежние непроходимые болота, не замачивая ноги». Со временем стали косить два раза в лето – факт для Полесья невиданный. Земли частных владельцев даже в самом некогда заболоченном Пинском уезде необычайно вздорожали. Выгоды мелиорации почувствовали в первую очередь лесопромышленники: экспедиция помогла организовать сплав леса.

Только за семь лет осушительных работ государственный капитал в Полесье увеличился в четвертое с половиной раза, на сумму в 14 миллионов рублей. Нельзя сказать, чтобы при таком размахе осушительных работ Жилинский не думал о сохранении неповторимой природы Полесья. Он сам был родом из тех мест и вряд ли с равнодушием относился к будущей судьбе дел рук своих. Уже в первые годы существования экспедиции Жилинский организовал четыре обсерватории для наблюдения за изменением природных условий. Предварительные выводы были обнадеживающими: болота тихо сдавались на милость победителя. Так вместе с водой уходили последние сомнения. В своем походном дневнике Иосиф Ипполитович записал: «Опасаться пересушки болот невозможно, – стоит в любом месте канала сделать затвор, чтобы поднять воду до поверхности земли, что дает возможность пользоваться каналами и для орошения осушенных мест».

Жилинский и предположить не мог, что уже через несколько десятилетий в Полесье, походившем на мокрую губку, появятся зловещие знаки среднеазиатских пустынь – песчаные барханы и опустошительные суховеи. Немногие обладают этим бесценным даром – даром предвидения...

Результаты, полученные экспедицией в Полесье, вывели наконец из многолетнего оцепенения министерство государственных имуществ. Был составлен еще один проект осушения болот. Теперь уже в Мещере.

Непосредственно руководить этими работами Жилинский не мог: огромную часть времени отнимало Полесье. Следует также учесть, что генерал являлся членом военного министерства и занимался вопросами направления научной деятельности генерального штаба, одновременно был членом совета в министерстве земледелия и государственных имуществ. В течение многих лет Жилинский управлял там отделом земельных улучшений, ведавшим делами мелиорации.

К работам в Мещере приступил специальный отряд инженера Сикорского. Произвели бурение, нивелирование, шурфовку и промеры болот, составили план осушения. Главной его задачей было оздоровить, насколько это было

возможным, местность, устроить доступ к принадлежавшим казне лесам и устроить сплавные каналы.

В 1877 году отряд стал спрямлять петляющее русло Солотчи. После этой операции река сделалась короче на 16 верст. Через два года начали рыть самый большой, Воронцовский канал между реками Прой и Солот-чей. Озеро Великое с помощью отводных каналов соединялось с этим главным путем, наполняя его водой до уровня, необходимого для сплава леса. Канал был главным стоком и для болотных вод. Вскоре к Воронцовскому каналу провели питающую ветвь из Келецкого озера.

В общей сложности прорыли свыше 200 верст каналов шириной от полутора до десяти метров и глубиной больше метра, и все это обыкновенной лопатой в жутких условиях мещерских топей: летом не было спасения от комарья, ноги тонули в трясине, зимой землю приходилось разогревать кострами. Местные крестьяне к работе почти не привлекались: дело оказалось для них непривычным. Отличными землекопами слыли в России чухонцы. Их-то и нанял отряд Сикорского, выдавая каждому из государевой казны немалое по тем временам вознаграждение – один рубль в день.

Технически мелиорация была проведена неплохо и уже в первые годы дала отличные результаты: годичный прирост сосны на осушенных землях увеличился на десять процентов, ели – на девять, березы – на четыре. Воды стало меньше, и зашумели густые травы, в некоторых до недавнего времени бросовых непроходимых местах прочно засел молодняк березы, ольхи и осины. Налажен был и лесосплав из Новосельской, Боровой и Келецко-Солотчинской казенных дач.

Выгоды мелиорации не оставили равнодушными «отцов» расположенных в Мещере уездов. Так, 13 сентября 1879 года Спасское уездное земское собрание, «убежденное примерами успешной осушки Полесья в Минской губернии и производства таких работ в казенных дачах Рязанского уезда... постановило признать производство таких работ... полезным и ассигновать на осушение болот 3000 рублей и ходатайствовать перед правительством о поручении партии генерала Жилинского сделать изучение болотистой местности Спасского уезда и затем произвести необходимые работы по осушке их».

В Рязанском государственном архиве с немалыми трудами я разыскал эту обильную переписку между земством, губернатором и министерством государственных имуществ. Три года из Рязани в Петербург шли прошения, которые сочинял, видимо, достаточно неглупый и знавший свое дело помощник губернатора (в деле сохранились черновики посланий, которые он писал за своего патрона). В них живописались незавидное положение спасских крестьян и хроническая бедность

земства. Высказывалась и настоятельная просьба выделить необходимые государственные средства. После долгих колебаний министерство на пожертвованные самим же земством три тысячи рублей снарядило небольшой отряд изыскателей во главе с известным нам инженером путей сообщения Сикорским. В архивном деле сохранился его отчет о проделанной работе. Им был подведен и окончательный баланс предстоявших затрат – 50 тысяч рублей. Естественно, что бедное земство не могло собрать и десятой части этой огромной суммы. Последнее слово оставалось за министерством. В октябре 1882 года пришел долгожданный ответ: «Несмотря на всю пользу осушки болот и важное значение этой меры для благосостояния местного

населения, не представляется никакой возможности принять на счет казны расход на эту осушку не только в количестве 50 тысяч рублей, но даже значительно меньшей суммы по неимению свободных для этого средств».

Так закончилась, не успев начаться, мелиорация в Спасском уезде...

В отличие от просвещенной части губернии мещерский крестьянин, осторожный по своей натуре, к мелиорации отнесся с нескрываемой враждебностью: «Знамо дело, землю поганят...» Его не смогли сбить с толку даже первые заметные успехи. «Погоди, еще аукнется»,— говаривали дальновидные мужики.

И вот пришел богатый солнцем 1890 год. Осушенная земля стала похожей на порох. Казалось, только упади искра... Случай не заставил себя ждать. Опустошительный пожар в несколько дней начисто выжег лес на огромной площади почти в девять тысяч гектаров. Укрепившиеся было на прежних болотах леса превратились в пепелища...

Скоро прекратился и сплав леса по Воронцовскому каналу: система затворов, брошенная на произвол судьбы, пришла в полную негодность. Весной, в половодье, вода по каналам беспрепятственно уходила из озера в реку, и уровень воды в Великом озере резко понизился. Заилились отводные каналы. Их некому было чистить, да и абсолютно несведущие в мелиорации крестьяне считали это дело лишним, тем более что осушены были пространства, никого по-настоящему не интересовавшие.

Правда, нашелся человек, сделавший из всего этого печального происшествия правильные выводы. Идеей осушения болот увлекся крестьянин Михаил Калабухов. Купив участок леса, он прежде всего предложил другим владельцам и арендаторам работать вместе, а когда те отказались, то в одиночку приступил к мелиорации. Учтя ошибки, сделанные экспедицией генерала Жилинского, он каналами разрезал землю на четырехугольники с таким расчетом, чтобы каждый из них в любое время мог быть затоплен водой из озера Великого. Так он полностью обезопасил себя от пожаров, при этом из озера не уходила лишняя вода. По собственному желанию он смог разрабатывать любой участок, а отходы от разработки пригонялись к специально вырытым прудам для утилизации. Недостаток средств, а потом и смерть не позволили Калабухову в полной мере воспользоваться плодами своего труда.

Со всей очевидностью понятно, что экспедиция генерала Жилинского потерпела в Мещере неудачу. В подтверждение этого приведу слова человека как вполне авторитетного, так и беспристрастного. В своем труде «Россия» Семенов-Тянь-Шанский писал об итогах осушения мещерских болот: «Район работ генерала Жилинского имеет 90 верст длины и 30 – ширины... Едва ли только затрата на все сооружения (гати, деревянные мосты, каналы) находится в соответствии со стоимостью и доходностью 15 000 десятин земли, при сомнительной ее плодородности».

Осушительные системы, требовавшие умелого, до педантизма аккуратного к ним отношения, прекрасно работавшие где-нибудь в Голландии, в глухих, бездорожных мещерских лесах так и остались «господской блажью». Видно, забыл генерал мудрые слова Чернышевского: «Народ вносит запустенье и одичалость в свою страну, если не вносит в нее культуры...»

Равновесие по Матвею

После города, иступленной жары не было ничего приятнее очутиться в прохладном лесном краю, на берегу ласковой речки. Приглашая в гости, наш знакомый заметил: в августе в Мещере благодать, комарья нет, а главное – свободнее дышится, ведь после ильина дня гуляют над Россией уже другие ветродуи, сродни осенним.

Деревня, в которой нам предстояло пожить не сколько дней, стояла у реки, вполне оправдывая свое название – Уречное. Речка Парма незаметно просачивалась сквозь густые камыши, распадалась на протоки и исчезала в лесах. Когда-то она была широкой и по ней в половодье сплавляли к речке Гусь, а потом и к Оке строевой лес. Сейчас Нарма мелководна, хотя весной «вспоминает» былое и затопляет крайние усадьбы Уречного.

Со стороны Колесникова через реку положен на сваи деревянный мост. Шустрая ребятня промышляет с него не крупную, но уловистую плотву. Конечно, главное назначение моста – служить транспортным целям. Но с этим делом он из-за своей древности справляется со скрипом...

Уречное – деревенька небольшая, идущая одним порядком от Нармы к лесу. У опушки избы кончаются. Здесь лежат два больших базальтовых валуна. Уреченцы шутят, что они сами, как грибы, выросли у леса после одного незапамятного проливного дождя. Кто-то из жителей деревни, рассказывают, хотел приспособить камни под фундамент. Подогнал трактор, завел трос. Но ничего не вышло. Валуны не поддавались, словно уходили корнями в землю, и незадачливый строитель, чуть не растеряв колеса, оставил уреченские реликвии в покое.

Но Уречное знаменито на всю округу не этим, а своими избами. Срубы поставлены аккуратно, их отличает искусная вязь наличников. У каждого хозяина узор свой, не срисованный. Дома выкрашены во все цвета радуги. И смотрят молодцами – ни дать ни взять из русской сказки. Перед избами раскудрявились ракиты, давая густую тень, дорогу в жаркое лето.

Когда-то деревня славилась и своими садами. Но зимой семьдесят девятого они перемерзли, и их вырубил, пустив освободившуюся землю под огороды. В живых остался всего один сад – у вальщика. Зимой, в самые свирепые морозы, он не бросал своего занятия. Топил баньку, валял в ней валенки, а теплый дым между тем обогревал сад, спасая от верной гибели.

Если соседнее село Колесниково стоит в поле, открыто, то Уречное с трех сторон обступили сосновые и березовые леса с можжевельновыми полянами, неожиданными болотами и озерами. Здесь водится всякая дичь, осенью полно грибов, а в Нарме дремлют завидные линии.

...Мы подъехали к Уречному вечером. По скрипящему мосту прошли на левый берег реки. Повстречали мальчишку-рыболова, не успевавшего насаживать белые катушки теста на острие крючка – так часто случались поклевки. В ведерке у него было уже порядочно красноперой плотвы.

Садилось солнце. Из леса тянуло вечерней сыростью. Стоило похлопотать о ночлеге.

Пообещав в обмен на гостеприимство починить испортившуюся швейную машинку, наш знакомый пристроил нас к тете Маше – пожилой вдове, одиноко жившей уже несколько лет в большом голубом доме с палисадником, заросшим желтыми осенними цветами. Поужинав, мы улеглись в горнице. В избе еще долго скрипели половицы: хозяйка устало ходила в сенях, прибирала на кухне и полезла на печь где-то около полуночи.

За завтраком мы завели разговор о погоде, видах на урожай и еще о многих

обязательных для такой беседы вещах. Забросили удочку насчет местных достопримечательностей, и тетя Маша посоветовала сходить на Глухое озеро.

– Люди сказывают, оно в одну ночь народилось. Расступилась земля, и заплескалась вода. Но без провожатого вам нельзя: кругом трясина, пропадете...

Проводник нашелся быстро. Показать дорогу к Глухому озеру вызвался внук соседки, шестиклассник Сашка. Взяли удочки, немного провизии на случай непредвиденной задержки и отправились в путешествие.

Выгоревшая на солнце, почти белая Сашкина голова, как маячок, мелькала среди придорожных кустов. Наш провожатый нетерпеливо забегал вперед, не пропуская ни одного подозрительного в отношении грибов места, при этом болтал без умолку. Через четверть часа мы были в курсе всех уреченских событий.

Лесная дорога уводила нас все дальше от деревни. Мы смотрели по сторонам, боясь проскочить мимо указанной тетей Машей тропинки – она бы вывела нас к болоту, окружавшему Глухое озеро... На Сашку надежды было мало: обязанности проводника он беспечно сочетал с грибной охотой.

Тропинка у старой изломанной березы все не появлялась. Скоро стало ясно, что мы ее проглядели. Пришлось вернуться и начать розыски сначала. Мы возвращались к истоку лесной дороги трижды. С четвертого захода Сашка еле отыскал незаметную тропку. Изломанной березы, на которую мы так надеялись, не было. Отслуживший свое лесной указатель превратился в трухлявый пенек. Знать, давненько последний раз наведывалась тетя Маша на озеро.

Сашка больше на грибы не отвлекался. Да их почти и не стало. Только красные фонари мухоморов предупреждающе светили из влажного сумрака.

Болото напомнило о себе загодя: начал мельчать лес. Почтенного возраста сосны долго провожали нас, но когда тропа пошла под уклон, запахло кислой прелью – остановились как вкопанные и тревожно заскрипели стволами, словно говоря: нам дальше нельзя, ну а вы как знаете...

В поводырях теперь была ольха. В низинной тишине ольшаник казался мертвым. Матово поблескивали жестяные листья, переплелись черные, словно обугленные, ветви. Ольха – невеселое дерево. Стоять бы ей по погостам, но озерная или речная вода далеко от себя не отпускает.

Появившийся в изобилии багульник напомнил: осторожнее, начинается болото. Земля превратилась в ватный матрас, а вскоре мы увидели и первые блюдца стоячей трясиной воды. Потянулись куртины осоки. Шелковые гривки напоминали издали маленькие зеленые гейзеры. Крепкие кочки давали нам возможность, не замочив ноги, двигаться в глубь болота. Сашка шел впереди, исследуя дорогу суковатой березовой палкой. Казалось, шагни в сторону и провалишься в бездонную жижу. Но палка показывала, что дно не так далеко и в случае неверного шага никакой катастрофы не будет. Мне не раз приходилось бродить по мещерским болотам-мшарам. Думаю, что их дурная слава несколько преувеличена. Сумрачная, дремотная и до конца не разгаданная атмосфера любого низинного болота, слухи и рассказы невольно настраивают на такое преувеличение. Плохо зная жизнь трясин, мы испытываем перед ними неодолимый страх, считая болота отъявленными нашими врагами. Приговор, который мы им выносим, подчас бывает незаслуженно суров.

Загляните в словарь Даля. Он приводит больше двадцати названий болот, и нет среди них ни одного доброго: топь, зыбун, трясина, мочажина, плавни,

грязи...

Существование трясин нам кажется уныло однообразным. Но это не так. «Болото – целый мир на земле, где свое особое бытие, свои оседлые и странствующие обитатели, свои голоса и шорохи, главное – своя тайна» – так писал Мопассан. Действительно, если бы мы могли сжать целые столетия в скоротечные минуты, то непременно заметили бы, как драматична, полна событиями жизнь обыкновенного болота.

Первая картина этой написанной природой пьесы проходит без особых конфликтов. Где-нибудь на елани среди пестроты луговых трав незаметно появляются жидкие кустики ивы как тревожный сигнал: что-то произошло под пышной дерниной, оскудела земля. Только такая – слабая, больная – она и становится легкой добычей болота.

Ива начинает чувствовать себя все уверенней. Под корой ее стеблей прячутся спящие почки. При их помощи ивняк, все более ветвясь, расплзается по елани. Если иву срезать кустарниковыми косами, то вместо одного уничтоженного стебля из дремлющих до поры почек появляются несколько. Не ива, а Змей-Горыныч о многих головах! Позже на будущем болоте без приглашения начинает хозяйничать милое семейство орхидейных – пурпурный ятрышник, источающая тонкий аромат любка.

Осенью на молодом болоте уже можно пожить черникой, а чуть позже и брусникой. Ее бледно-белые ягоды, охваченные легким ночным заморозком, краснеют и становятся хорошо заметными и птице и человеку. Набирающее силу болото тем временем покрывается робким березняком. Вылезает на свет божий осока, расселяется куртинами. Ласковая, шелковистая с виду травка, только не тронь – вмиг порежет руки острым, как бритва, стеблем.

Теперь перед нами осоковое или березовое болото. Горькую, невкусную болотную траву есть некому, и она, отмирая, со временем превращается в торф. А с торфа, известное дело, много не возьмешь. Все труднее жизнь у «русалочьего цветка» – багульника, подбела, осоки. Скоро они будут вынуждены уступить место зеленым мхам. Стелют они мягко, но «спать» жестко их соседям. Безобидные с виду, мхи неторопливо, но деловито принимают душить все живое. Изреживаются высокоствольные березы. Мох плотным кольцом стискивает их корневые шейки, и деревья задыхаются, умирают.

К тому времени торф напитывается влагой. Под ногой земля пружинит, а оставленный след быстро заполняется темноватой, неживой на вид водой. Мох сфагнум берет такую силу, что зеленой лавой, точно из вулкана, извергается из центра верхового болота. Трясина начинает походить на перевернутую вверх дном глубокую тарелку. Середина болота может возвышаться над краями на десять метров!

Быстро, стремительно, даже по нашим человеческим меркам, растет моховое болото. Ежегодный прирост сырой массы сфагнума иногда достигает 20 сантиметров. Нередко на памяти одного поколения подо мхами оказываются погребенными десятки гектаров озер, лесных и луговых угодий. Болото как аккумулятор собирает огромное количество влаги. Но вот парадоксы природы: оставшиеся растения при этом умирают от жажды. Все дело в том, что трясина подвержена частым холодным утренникам, даже летом. Между надземной и подземной частями растений создается ощутимая разница температур, корни не в состоянии извлекать необходимое количество влаги. Вот так и получается: есть вода, а не напьешься. Приходится воду экономить, меньше испарять. Поэтому такие жесткие, чешуйчатые листья на

знакомых нам кустарничках вереска, брусники, гонобобеля, черники.

Но приходит конец и господству сфагнома. Мощный слой торфа позволяет осесть на верховом болоте светолюбивой сосне. Здесь ей никто не мешает всласть напиться солнечных лучей.

Появляется клюква. Ее много. При желании с одного гектара болота можно собрать более тонны.

Мох изреживается и уступает место сплошным коврам вереска, багульника, пушицы, этого «мещерского хлопка». Кое-где на поверхность выступает голый мертвый торф, покрытый узорами седых лишайников. Вырастает, наконец, высоко ценимая за свои качества «рудовая» болотная сосна, не ведая о том, что сама «рубит» собственный корень: опадающая хвоя служит отличной пищей затаившимся мхам. Они копят силу и в одно прекрасное время без жалости начинают душить давшие им жизнь сосны. И те тихо уходят с болотной сцены. Через определенное время все повторяется. Такие смены «декораций» происходят много раз, пока болото окончательно не умрет.

Некоторые трясины имеют внушающий уважение возраст – до десяти тысяч лет. Вот вам и гнилое болото! Кстати, с этим определением можно поспорить. Кислая среда сфагнового торфа предотвращает гниение. Не случайно поэтому, отправляясь в особо дальние путешествия, русские мореплаватели брали в дорогу бочки не с ключевой, а с болотной водой. Она здоровее и сохраняется дольше речной, озерной или родниковой. Известно, что мещерские крестьяне пользовались болотом как холодильником: свежее мясо, обернутое сфагновым очесом, долго не портилось.

Еще несколько любопытных фактов из жизни болот. В Западной Германии в одной из трясин был найден средневековый рыцарь в доспехах. В Австрии в болоте Лейбах обнаружили на глубине чуть больше метра остатки бревенчатой дороги, проложенной римлянами, а на дороге – римскую монету с изображением императора Тиберия Клавдия, датированную сорок первым годом нашей эры.

Были находки и в Мещере. На одном из болот у станции Пилево рабочие наткнулись на хорошо сохранившийся в торфе скелет оленя. Огромные рога имели в размахе два метра.

Много замечательного скрывают в себе неприветливые болота. Как тут не вспомнить строки Николая Рубцова:

От всех чудес всемирного потопа
Досталось нам безбрежное болото,
На сотни верст усыпанное клюквой,
Овеянное сказками и былью
Прошедших здесь крестьянских поколений...

...Оказалось, что Глухое озеро берегов в привычном нам смысле не имеет вообще. Болото, по которому мы осторожно пробирались, незаметно перешло в зыбкую сплаvinу – толстый зеленый ковер, сотканный из корневищ болотного сабельника, вахты и белокрыльника. Удержаться на таком «берегу» невозможно, но нас выручила старая гать. Березовые жердины лежали сверху сплавины, давая сносную точку опоры. Осторожно прошли по настилу и нетерпеливо заглянули в глубину. Кристально чистая вода открывала бездонный, подернутый редкими водорослями провал. Нас несколько не напугала мрачная, чавкающая трясина, но от этой прозрачной, отвесно падающей глубины становилось жутко. Над озером висела первозданная тишина.

Мы поспешили уйти из этого холодного и дикого места. В обратный путь Сашка повел нас другой дорогой, объяснив, что так

ближе. Не надо было доверяться непрочной мальчишеской памяти. Через час под ногами вновь захлюпало. Болото. Двинулись вдоль него, держа ориентир на материковые сосны. Так прошел еще час.

Наскоро перекусив, неуверенно побрели дальше. Надеяться оставалось на случайную встречу с кем-нибудь из местных жителей. Из карты я знал, что деревень поблизости немного и они далеко отстоят друг от друга. Малолюдное, глухое место. Наверное, поэтому мы не сразу сообразили, что вышли к жилью. Открывшуюся нам среди чахлых берез избушку домом можно было назвать лишь с натяжкой. Она вросла в землю по окна. Крыша затекла зеленым мхом. Подопрели и продырявились в нескольких местах ступени ветхого крыльца.

Возле избушки стоял похожий на лешего дед. Застиранная рубаха, темные штаны, заправленные в высокие сапоги, белая густая борода. Узнав, в какой мы переплет попали, он нас успокоил:

– Ничего, наши места светлые. Поплутать – это можно, а насовсем потеряться мудрено. До Уречного дорога недалекая, заходите в гости к деду Матвею...

В избушке стояли стол, две лавки, что-то похожее на комод и металлическая кровать. Стол был чисто выскоблен ножом. На краю рассыпью лежали мелкие ягоды брусники. Дед Матвей без жалости смахнул их рукой на пол.

Мы удивились: за что ж так уважаемую ягоду?

– Да разве это ягода! – вознегодовал дед. – Просо. Вот раньше я брусницу на болоте брал – с вишню. В кулаке боле десятка не схоронишь. А черника да клюква – яблоч райских не сули. Народ на болоте кормился, медведь жировать приходил. Всем за глаза хватало. Клюквицу в бочку с водой определишь – и до весны удовольствие...

– А что ж сейчас, бабушка, перевелась ягода?

– Какая ж тут клюквица, когда на нее бульдозер пошел. Канавы копают почем зря. Милирация...

Дед говорил о мелиорации недоверчиво, как о неведомом плоде, вдруг созревшем на привычной огородной грядке. Может быть, кое-где в Мещере об этом действительно доселе не слыхали, но крестьяне русского Севера с мелиорацией знали давно. На первой Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, открывшейся в Москве 19 августа 1923 года, крестьянин И. Никулин из деревни Милютино Петроградской губернии показывал свой метод дренирования почвы. В небольшой заметке «Золото под кочкой» газета «Правда» писала тогда: «Без господнего благословения, без всяких нивелировок, без техники и инструмента – один провел 184 сажени (около 400 метров.– В. П.) простого жердевого дренажа на своих десятинах... Доходность никулинской десятины до осушки была 5 пудов, после осушки стала 53, в одиннадцать раз больше. Сорок восемь лишних пудов ржи, это 40 золотых рублей. Так мужик Никулин действительно под кочками золото нашел».

Что и говорить, заманчиво было найти «золото» и в мещерских мшарах.

Бывает, что богатая земля оказывается бедна природой. С Мещерой вышло наоборот. Ее красивая земля чрезвычайно скудна и от века не давала никакой надежды на щедрые урожаи. Но надежда появилась, когда в обиход мещеряка стало входить слово «мелиорация». Правда, улучшение земель здесь пытались проводить давно, еще в прошлом веке, но лишь в последнее десятилетие мелиорация набрала такую силу, с которой пришлось считаться и

людям и природе.

Край вступил в неведомую ему деятельную полосу жизни, которая давала долгожданные дороги и животноводческие комплексы, обновляла поселки, крепкой ниткой сшивала лоскутное одеяло полей. За короткий срок в рязанской Мещере была осушена огромная площадь – 50 тысяч гектаров земли. В совхозе «Макеевский» зерновые начали давать на круг по 40 центнеров с гектара, овощи – по 250–300. Играючи собирали по три укоса трав там, где недавно еще были непроходимые болота. Были все основания надеяться, что сельское хозяйство мещерских колхозов и совхозов встанет наконец на ноги.

Так и вышло в тех хозяйствах, где к мелиорации отнеслись с должным бережением, ответственно. Ведь дело это непростое, тонкое, требующее и высокой культуры земледелия, и навыка, и аккуратности. Тут надо не только поле готовить для земледельца, но и земледельца для поля, чтобы знал он свою землю, верил в нее, как верит какой-нибудь крестьянин на черноземах. Вопрос этот для Мещеры не праздный, из ряда наиважнейших, потому что местный житель привык с давних пор относиться к своей пашне с недоверием: а прокормит ли, не подведет ли в трудный год? Мещеряк всегда искал доходы на стороне, опирался на ремесло, которое, конечно, здорово его выручало, не подчиняясь капризам природы.

С приходом мелиорации мещеряк повернулся к пашне лицом. Задача это была из области психологии, а потому нелегкая, не для одного дня. В основном ее решили. Но кое-где работа на «авось» обошлась дорого, немало сил было потрачено на то, чтобы вновь вернуть в оборот земли, осушенные несколько лет назад. Жизнь заставляет по-новому взглянуть на пройденный путь, избегать прежних ошибок, устраивать землю так, как это делают в лучших мещерских хозяйствах, где высока отдача с мелиорированного гектара.

Невооруженным глазом видна здесь и еще одна непростая проблема: улучшение земли не может в наше время проходить без охраны окружающей среды. Размах работ должен вызывать в каждом, кто причастен к обновлению Мещерского края, чувство повышенной ответственности, тем более что глубоких научных прогнозов о последствиях активного вмешательства человека в его неповторимую природу пока нет. Но об одном ученые предупреждают уже сейчас: нужна осмотрительность, осторожность. В таком деле, как хозяйственное освоение Мещерской низменности, поспешность недопустима.

И еще об одном предупреждают ученые. На торфяниках мощностью меньше метра нельзя выращивать ничего, кроме сеяных трав. Надо подумать и о будущем. Осушенная почва быстро срабатывается. Один метр ее пашня «съедает» примерно за пятьдесят лет. Прикиньте, надолго ли хватит, если средняя мощность торфяников в Мещере – два метра...

Чернозем многое прощает даже неумелому земледельцу. У мещерской земли характер другой. Она приблизительности и небрежности не терпит. Тут уместно вспомнить Энгельса. В «Диалектике природы» он писал: «Не будем слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит».

Уж кажется, несть числа печальным примерам! Так, 1910–1920 годы были для Америки десятилетием грез о мелиорации, когда паровые экскаваторы высушили болота центрального Висконсина. Хотели создать плодородные поля, а вместо этого получили пустыню. Но не будем ходить за три моря. Возьмем схожее с Мещерой белорусское Полесье. Дававшая поначалу

хорошие плоды, мелиорация вдруг обернулась здесь песчаными бурями. Переувлажненная когда-то земля стала страдать от недостатка влаги. Начали срабатываться торфяники. Из-под утончающегося плодородного слоя то там, то тут зловеще стали выглядывать песчаные плечи. Если так пойдет дело и дальше, через 50–60 лет, как считают ученые, болотистое Полесье может всхолмиться дюнами. Неизвестно еще, что будет с климатом после повсеместного осушения. Ведь болото в тысячу гектаров с двухметровой глубиной залегания торфа удерживает в себе примерно 20 миллионов кубометров воды! Надо, считают теперь в Белоруссии, поспешать не торопясь. Взвешивать все и рассчитывать.

«По болотам в свое время я ходил с чувством стран неоткрытых», – писал Михаил Пришвин. Эти удивительные произведения природы вечно могли бы поставлять человеку сено и ондатр, журавлиную музыку и клюкву. При соответствующем уходе с каждого гектара болота должно брать пять тонн разных ягод. Считают, что полученный доход можно приравнять к отдаче от восьми гектаров пашни. Конечно, не со всякого болота такое получишь, но ведь всегда были в Мещере клюквенники да черничники, кормившие не одно большое село.

Пишу эти строки в то время, когда все отчетливее слышится предложение энтузиастов создать в Мещере национальный парк. Идея, конечно, не нова, только чем больше проходит времени, тем настоятельнее, неотложнее видится мне ее воплощение в жизнь. Но и здесь не грех помнить о мудрой русской пословице: семь раз отмерь... Ведь национальный парк – это не просто кусочек самородного ландшафта. Тут нужны и хорошие дороги, и гостиницы, и эффективная служба охраны природы... Все это требует немалой заботы, капиталовложений, высокой культуры ведения дела.

...Дед Матвей сказал нам на прощание:

– У каждой земли свое предназначенье. Одна родит хлеб, с другой возьмешь уголь. С третьей – лес. А я вот смотрю из окошка на свое болото. Думаю: какое ж предназначенье ему определено? Крепко думаю. Бросить его впусе, без пользы – нету резона. И сгубить – раз плюнуть. Чуть канавку ковырнул, и нет болота. Одного щелчка хватит. Подход к нему нужен. Я бы так сделал: взял безмен и взвесил – сколько добра получу, а сколько убытку.

«Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свои свойства и особенности своего свободного духа», – писал когда-то Антон Павлович Чехов. Другой великий русский человек, Петр Ильич Чайковский, будто вторил ему: «А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная природа. Ее надо беречь, как мы бережем самую жизнь человека. Потомки никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что по праву принадлежит не только нам, но и им».

Путешествие 5-е





Если взглянуть на карту Мещеры, то в самом ее сердце, на левобережье Пры, увидишь пунктиром отмеченную зеленую зону – Окский государственный заповедник.

Толчком к его созданию послужил маленький симпатичный зверек, ровесник мамонтов – выхухоль. Животное, потревоженное бурной деятельностью человека, стремительно исчезало, и, чтобы его сохранить, в 1935 году был организован заповедник. Позже его задачи расширились и усложнились. В 1956 году здесь открылась первая в Союзе Центральная орнитологическая станция, которая начала массовое кольцевание птиц. С тех пор уже помечено более трех с половиной миллионов пернатых.

Теперь, говоря о природе, животном мире Мещеры, мы вполне справедливо обращаем свои взоры в первую очередь к Окскому заповеднику: там всегда найдутся люди, способные ответить на многие наши вопросы.

Я люблю бывать в заповеднике. Здесь чувствуешь себя по-особому: говорить начинаешь тише, двигаться несуетно, думать основательно.

Когда я попал в заповедник в первый раз, а это было в далеком детстве, все ждал, что вот сейчас из-за кустов выйдет олень, над головой низко пролетят журавли, покажет свой огненный хвост лиса. Но лес на заповедном берегу Пры стоял тихо, молчаливо. Я пристально вглядывался в него, но ничего не заметил, только ворона прокричала что-то обидное с одиноко стоявшей сосны. Тогда я был разочарован и лишь много лет спустя понял, что смотреть и видеть – вещи разные.

Непосвященному жизнь в заповеднике может показаться скучной. Экзотика в виде смиренно живущих в вольерах зубров, оленей и венценосных журавлей быстро приедается. Многие забывают, что заповедник совсем не музей, а огромная лаборатория среди дикой природы. Каждодневные результаты ее работы впечатляющими не назовешь. Только сумма многих и многих дней-наблюдений дает возможность сделать верный вывод, сказать самостоятельное слово в науке.

Природу любят, пожалуй, все, но работать в ней и для нее, «вдали от шума городского» может далеко не каждый. В своей замечательной книге «Календарь песчаного графства» американский эколог Олдо Леопольд так записал о подвижниках живой природы: «Мы, меньшинство, предпочитаем летящих в небе гусей всем телевизионным программам мира, а возможность найти ранней весной синий цветок сон-травы – право для нас столь же неотъемлемое, как свобода слова».

Один из верных энтузиастов охраны природы – Святослав Георгиевич Приклонский. Вот уже несколько лет он директорствует в заповеднике, не оставляя при этом и своих научных интересов, связанных с орнитологией. О заповеднике, его достижениях и проблемах Святослав Георгиевич может говорить часами. Это дело его жизни.

Приклонский справедливо считает, что многолетняя работа ученых может сейчас дать вполне исчерпывающий ответ на вопрос: что же представляет собой животный мир Мещеры?

– Назову лишь общие цифры, – говорит он. – В лесах, озерах и реках встречается около 50 видов млекопитающих, 40 видов рыб. Из крупных зверей самым распространенным является царь мещерских лесов – красавец лось.

Только в Рязанской области 3 тысячи этих животных. Не так давно обитал в Мещере и медведь, но сейчас заходит сюда лишь изредка.

В заповеднике и его окрестностях обитает более 220 видов птиц. Мещера, занимающая всего 5 процентов европейского центра СССР, – настоящий рай для уток, гусей, куликов. Весной здесь пролетает до 60 процентов, гнездится более 20 процентов, а мигрирует осенью около половины всех водоплавающих птиц, населяю

щих центральные области европейской части нашей страны. Можно сказать, что через эти края проходит птичий большак.

Из пернатых обычны глухарь, рябчик, тетерев. К осени частыми гостями речных отмелей оказываются кулики, овсянки, камышовки, славки, пеночки, дрозды. Увидишь в заповеднике и серую неясыть, цаплю, зимородка. Ежегодно на отдых здесь останавливаются 70–100 тысяч белолобых гусей. Есть и редкие виды, занесенные в Красную книгу СССР, – черный аист, орлан-белохвост, орел-змееяд, сокол-балобан, скопа, орел-беркут, сокол-сапсан...

Все это живое богатство надо сохранить и умножить. Кое-что уже сделано, но работа продолжается. Этим и живет наш заповедник.

...Слово «заповедать» в древнерусском языке значило «сказать». Заповедать – это сказать то, что должно быть обязательно исполнено в будущем...

Журавль в небе

Город не знает, когда прилетают и улетают журавли. Какая-нибудь дымящая фабричная труба или шум автомобилей заставляют осторожный птичий клин держаться в стороне от городских окраин.

Привычная для нашего близкого предка журавлиная музыка давно перешла в разряд камерной, ну а сам журавль, увы, превратился для большинства в птицу скорее символическую. Что нам остается делать, так это отыскивать ее многочисленные поэтические гнезда.

Журавль щедро воспет на многих языках народов мира. И справедливо. Трудно назвать птицу красивее и благороднее. В Японии, Китае и Корее слово «журавль» служит синонимом долголетия. В Африке эта птица глубоко почитается, как предвестник долгожданных дождей. Индусы считают журавля олицетворением верности, а европейцы – бдительности. В России – это нежный символ Родины...

Широко на Руси предназначенный срок увяданья Возвращают они, как сказание древних страниц.

Все, что есть на душе, до конца выражает рыданье И высокий полет этих гордых, прославленных птиц.* – писал Н. Рубцов.

У нас всегда любили журавлей: ведь они приносили с собой весну, отмечали спелую осень. С ними связывали немало примет, особо важных для земледельца. Журавль прилетел и теплынь принес. Если птицы летают высоко – быть ненастью. Отлетят журавли до покрова – надо ждать раннюю и студеную зиму. «Колесом дорога!» – кричат тогда им, чтобы вернуть назад.

В Мещере до сих пор живет поверье: журавля убить – дома лишиться. В древнерусском судебнике убитый журавль оценивался в 120 граммов серебра, тогда как жеребенок всего в 60. Попав волею случая к человеку и встретив заботу и ласку, птица нередко отвечала взаимностью. В энциклопедии Южакова я прочитал: «В неволе журавли обнаруживают большую привязанность к человеку, а также значительное развитие умственных

способностей. В курятниках они следят за порядком, разнимают дерущихся птиц; они пасут скот не хуже овчарки и защищают вверенное им стадо против неприятелей».

В начале нашего века многие держали ручных журавлей. Взятая птенцом, птица привыкала к человеку очень легко.

Изданная Брокгаузом и Ефроном монография профессора Мензбира «Птицы» оптимистично утверждала, что журавль – «птица очень обыкновенна и при ее широком распространении ничто не угрожает ее продолжительному существованию». Это было написано в конце XIX века.

Журавль оказался самым верным сыном дикой природы. И когда человек повел на нее невиданное наступление, из альтернативы – приспособиться или исчезнуть – журавли, кажется, выбрали последнее. Из семи видов, обитающих у нас, уже три занесены в международную Красную книгу.

Не случайно журавлиная жизнь проходит вдалеке от человеческих глаз. Осторожные птицы так и остались неисправимыми провинциалами. Я сам однажды видел, как по утренним улицам спокойно разгуливали заплутавшие лоси, как на теплом пруду возле ТЭЦ зимовала пара белых лебедей. Но я что-то не слышал о появлении в городском парке журавлей. Чтобы встретиться с этими вольными, недоступными птицами, надо забраться в самые глухие места. Свидание может состояться где-нибудь на лесном болоте или на затихшем осеннем поле. Если, конечно, повезет...

Гораздо сложнее найти журавлиное гнездо. Попробуйте среди сотен гектаров болот отыскать невысокую кочку, увенчанную пучками прошлогоднего тростника или осоки. Гнездо можно обнаружить, только подойдя к нему вплотную.

Ученые-орнитологи Окского заповедника пытаются вести поиск с воздуха. Однажды к ним присоединился и я. В поле за Лакашом нас взял на борт Ан-2 и вознес в весеннее небо. Под нами проплыли Пра, Татарское озеро, самолет лег на рабочий курс, и мы надолго приклеились к иллюминаторам.

Весна была в разгаре. Закудрявились березы. Листва еще не набрала густоты, и сквозь нее просвечивали худые белые стволы. Березняк на болотах стоял неважный, с частыми прогалинами, заполненными бурозеленым кочкарником и темными разводами полой воды.

Болота вытягивались короткими языками и шли непрерывной цепью. Кое-где виднелись островки камышей, оставшихся с прошлой осени. Если бы журавли поселились здесь, мы бы ни за что не увидели их сверху. Все упования на желтое пятно гнезда среди зелени молодой осоки. Самолет шел низко, казалось задевая макушки берез. Во все стороны разлеталась испуганная шумом мотора птичья мелочь. Но журавлей видно не было. Полтора часа воздушных поисков прошли впустую...

Оставалось натянуть болотные сапоги и продолжить орнитологическую разведку уже на земле. До кордона Старого мы вместе с научным сотрудником заповедника Юрой Маркиным плыли вверх по Пре на моторке. Разлив скрыл подходы к берегу. Пришлось протискиваться к заводу, возле которой находился кордон, сквозь частокол стоявших в воде берез и осин. Заглушили мотор. Вышли на берег.

Наше прибытие не осталось незамеченным. К причалу с веселым лаем бросился пес здешнего лесника и долго вертелся возле нас, пока мы снимали пробковые жилеты и разминали затекшие ноги. Выпив по кружке крепкого чая из термоса, отправились на поиски.

Весенний лес необычайно деятелен. На каждом шагу в нем видишь

движение, надежно спрятанное в другое время года. Наливаются зеленью только-только народившиеся листья; от корней, жадно пьющих по лую воду, поднимается крутой земляной запах; радостно желтеет первоцвет, еще вчера имевший вид невзрачного кустика; озабоченно снуют птицы, вылезает из нор и укрытий зверье.

Весной мы наблюдаем поразительное единство интересов у всего живого. Это единство, пожалуй, можно выразить всего тремя словами – пробуждение, обновление, надежда.

По дороге на болото мы встретили кабаниху в окружении полосатого приплода. «Святое семейство» грелось в середине солнечной поляны на подстилке из лежалой хвои. Мы посчитали благоразумным обойти поляну стороной: весной кабаниху лучше не трогать.

Тем временем сверху слетел едва уловимый шорох крыльев. Подняли головы: сквозь переплетение ветвей было видно, как по бирюзовому небу скользила большая длинноклювая птица. Мой спутник заволновался: «Черный аист. Сколько живу в заповеднике, а наблюдаю его всего в третий раз». Юра сделал отметку в записной книжке. Пошли дальше и скоро вступили в журавлиные владения.

Лес начал редеть, превращаясь в чахлый березняк. Потянулись камыши. Под ногами мягко запружинили кочки. Но чем дальше мы уходили от края леса, тем их становилось меньше, а бочажины с черной, как вороново крыло, водой слились в пугающую, зыбкую гладь. Лезть в трясину не хотелось, но это была единственная возможность найти журавлиное гнездо. Мой спутник шагнул в черную воду первым, а я за ним. Когда нога ушла под воду, приготовился ощутить вязкую, засасывающую тину, но дно было достаточно твердым. Двигаться можно – хоть и не быстро, но безбоязненно.

Топь разнообразилась чистыми песчаными островками. На них свободно росла сосна. Чтобы как-то осмотреться, решил залезть на одно из деревьев. Горизонт сделался шире, но я не увидел ничего, кроме черной воды, редких сосновых гривок и рыжих камышей. Передо мной лежало Золотое болото. Каждую весну оно скрывало от посторонних глаз птичьих пары. Это было болото журавлиной любви.

У одного из островков мы наконец нашли то, что так долго и безуспешно искали. В сухом месте на макушке большой кочки из жухлой осоки было устроено просторное гнездо. Издалека оно походило на небольшой стожок, который поставили неумелые косари. Мой спутник рассказал, что в устройстве гнезда, насиживании и воспитании потомства участвуют и самец и самка. Журавли – родители неплохие: заботятся о птенце по мере сил, выхаживают, а потом и ставят на крыло.

Сидящая на яйцах самка не теряет природной осторожности: стоит появиться человеку, она, пригнувшись, тихо отходит в сторону и взлетает в другом месте так, будто только что сошла с гнезда.

В найденном нами гнезде лежали два яйца – зеленовато-глинистого цвета, величиной с гусиные, но более удлиненной формы, испещренные бледно-бурыми пятнами и пятнышками. Мы сфотографировали гнездо, а в дневнике осталась еще одна запись.

Для орнитолога Юры Маркина поиски гнезд серых журавлей – занятие не праздное. Он один из активных участников большого эксперимента по спасению ставших редкими белых журавлей, которым, по замыслам ученых, предстоит обрести новую родину – Мещеру.

Здесь настало время рассказать об этом уникальном эксперименте. О нем уже написано немало, но вспомнить хотя бы его суть, думается, стоит, иначе трудно понять главную цель нашего путешествия на Золотое болото.

...В мире существует пятнадцать видов журавлей. Один из самых редких сейчас – стерх, или белый журавль. Исконные места его обитания – Западная Сибирь и Северная Якутия. В научные анналы стерха внес в 1773 году наш соотечественник академик Петр Симон Паллас. Но после этого без малого двести лет зоологи безуспешно пытались найти гнездо стерхов или хотя бы скорлупу яйца. В конце концов гнездовья были обнаружены, но самих птиц к тому времени осталось мало – не более четырехсот. Орнитологи подвели печальный итог: белый журавль под угрозой исчезновения.

Один из биологов как-то сказал: «Можно сконструировать все что угодно: новый автомобиль, аппарат для полета на Марс, карманный телевизор, но, если исчезнет птица, ее сконструировать заново невозможно». Надо было что-то предпринять для спасения стерхов. Ученые предположительно знали, что одни из

них зимуют в Китае, другие – в Индии на заповедном болоте Гхана – это в 160 километрах южнее Дели. Организовать надежную защиту журавлей на местах их зимовок и гнездований не представлялось возможным. Вот тогда-то и был предложен смелый эксперимент.

Известно: из двух яиц, отложенных самкой журавля, одно является как бы страховочным – после рождения наиболее сильный птенец убивает слабого. Так что одно яйцо все равно «пропадает». Его-то, привезенное из далекой Якутии, ученые и предложили «высидеть» в специальном инкубаторе. Затем еще одно. Таким образом следовало создать целую журавлиную ферму. И она была создана. Впервые в стране в Окском заповеднике организовали питомник редких видов журавлей.

Мещеру в этом случае выбрали не случайно. Белые журавли сразу как бы «приблизилась» к ученым. Их теперь можно было хорошо изучить, а главное – появилась надежда на успешное проведение второй части операции «Стерх». В заповеднике орнитологи без особых помех могут проникнуть в царство вольных серых журавлей. Они-то со временем и должны стать приемными родителями белым журавлям. В один прекрасный весенний день в такое гнездо, какое мы отыскали на Золотом болоте, ученые положат яйца стерхов. Возможно, наши серые журавли примут в свою семью непохожего на них несмышлениша (примеров такого рода в мире птиц и животных сколько угодно), возможно, стерхам понравятся здешние места. Если все это случится именно так, то однажды мы с вами увидим, как белоснежный клин проплывет в осеннем мещерском небе.

...Я хорошо помню первого стершонка, появившегося в питомнике. Он был некрасив. Ни дать ни взять андерсеновский гадкий утенок – грязно-коричневый, взъерошенный, на длинных ломающихся ногах. Он неторопливо бродил по мелководью одного из рукавов Пры и настороженно поглядывал в небо – не появился ли там какой хищник? Стершонка назвали Джорджем в честь директора Международного фонда охраны журавлей американца Джорджа Арчибальда. Ученые из Соединенных Штатов Америки еще раньше начали операции по спасению редких видов журавлей. В штате Висконсин, в научном центре университетского городка Мэдисон впервые были получены «инкубаторские» сибирские стерхи.

Через год Джордж выглядел настоящим белым журавлем. И только

небольшие коричневые пятнышки на шее и голове напоминали о недавнем детстве. Вырастить его, как и других стерхов, стоило немалого труда. Питомник отстраивался, опыт приходил не сразу, не минуя известной стадии проб и ошибок. Так, ученым было неизвестно, чем подкармливать маленьких стершат. Стали давать им мороженую речную рыбу, думая как-то разнообразить меню. Не знали тогда, что в рыбе образуются ферменты, которые приводят к недостатку витамина группы В. Пока разобрались – было поздно. Три журавленка из четырех погибли. Но отрицательный результат в науке, как известно, тоже результат. Теперь подобных ошибок не повторяют...

Позже в питомнике появились новые жильцы – журавли со всех концов света: красавки, венценосные, японские, канадские, журавли Стэнли. Они расхаживали в закрытых сетями вольерах, прекрасно чувствуя себя в сосновом лесу, так не похожем на их родные места.

Журавлиный питомник, если хотите, идеальный полигон для исследования особенностей журавлиного характера, образа жизни. Это и своеобразный генетический «банк», который поможет в случае необходимости восстановить потерянный вид. Созданием таких «банков» заняты сейчас многие учреждения и общественные организации в Европе, Америке, Австралии. Редкие виды журавлей разводят в питомнике Международного фонда охраны журавлей в штате Висконсин и в американском Центре исследований дикой природы в Патуксенте, в Журавлином парке японского острова Хоккайдо и у нас в Мещере.

Осенью 1980 года своего журавлиного тезку навестил Джордж Арчибальд. Директор Международного фонда охраны журавлей – это звучало внушительно. И я перед встречей с ним представил себе этакого солидного человека, но увидел кудрявого, розовощекого парня в джинсах, зараженного какой-то мальчишеской страстью к журавлям. Она пришла к нему еще на студенческой скамье в Корнельском университете, где Джордж Арчибальд организовал свой первый журавлиный питомник. Здесь же в университете он нашел

единомышленника в лице Рона Сауэлла. Отец Рона отдал молодым энтузиастам заброшенную ферму, в которой был немедленно организован питомник. Вечерами друзья писали письма во все концы света с единственной просьбой – принять участие в спасении редких видов журавлей. Благородный призыв был услышан. Так появился Международный фонд, в работе которого принимает сейчас самое активное участие и наша страна. Среди «отцов» фонда англичанин сэр Питер Скотт – сын знаменитого полярного исследователя Роберта Скотта, японский принц Я. Ямасима...

В одну из осенних ночей восьмидесятого года мы отправились в маленькую экспедицию. Предстояло отловить и окольцевать хотя бы одного серого журавля. Никому в заповеднике этого сделать еще не удавалось. Джордж решил показать, как надо действовать: ведь у себя дома, в Барабу, он проделывал подобные операции не раз, приманивая журавлей зерном, обработанным специальным усыпляющим составом.

Кольцевание дает ценнейший материал о путях перелета птиц. Знаешь, где кочуют журавли, значит, можешь и надежно их охранять в нелегкой дороге. А путь у них, надо сказать, неблизкий. Выяснено, что, к примеру, родственники серых журавлей – стерхи – пролетают в осеннюю пору почти пять тысяч километров! Мы неплохо осведомлены о траекториях звезд в далеких галактиках и пока ничтожно мало знаем о вековых маршрутах журавлей. Удивительный парадокс!

Чтобы увидеть журавлей, которые прилетали кормиться на ближние поля, надо было встать засветло, часа в три ночи. Сразу проснувшись от холодного осеннего воздуха, мы бодро полезли в брезентовый кузов грузовика, предусмотрительно прихватив с собой термос с чаем и потрепанный русско-английский словарь в скользком сером переплете. Дело в том, что у научного сотрудника заповедника Саши Нумерова, уже известного вам Юры Маркина и у меня в общей сложности было в запасе английских слов не больше, чем осталось на планете занесенных в Красную книгу стерхов, а с американским гостем надо было как-то общаться.

Как только машина тронулась, Джордж задремал у кабины – для него это была третья бессонная ночь. Предстоял трудный день, потому что согнать журав

лей в одну небольшую точку убранного хлебного поля было невероятно сложно. Когда мы приехали на место, студенты-практиканты, у которых была рация, отправились на велосипедах в разные стороны на поиски журавлиных стай, сразу растворившись в утреннем тумане.

Мы насыпали приманки, а неподалеку привязали прозрачной леской Кроша и Брыку – ручных серых журавлей из питомника. После всех необходимых приготовлений мы с Джорджем притаились в березовой рощице на краю поля.

Никогда не любил охоту, и чувство ожидания добычи мне совсем незнакомо, но в тот утренний час я был почему-то уверен, что ощущение предстоящей встречи с журавлями, которые уже громко кричали где-то в невидимом небе, было много сильнее охотничьей страсти, потому что познающим быть куда как интереснее, чем стреляющим.

Когда рассвело, мы увидели больше сотни птиц. Потрявоженные нашими загонщиками, они слетались с соседних полей. Над жнивьем висел легкий туман, и далеко сидевшие птицы казались призрачными. Джордж то и дело смотрел в маленький цейсовский бинокль, время от времени цыкая на меня за то, что я щелкал фотоаппаратом. Почти неслышный обычно щелчок затвора действительно раздавался в тишине как ружейный выстрел. Скоро Джордж предложил мне сменить фотоаппарат на бинокль, и я стал наблюдать за журавлями.

А они все прилетали, делали круг над копешками соломы и садились вблизи от основной группы, а потом степенно подходили к стае, занимая определенное место. В основном журавли держались семьями, по трое. Они заботливо оглядывали друг друга. Родители помогали повзрослевшему, но пока малоопытному птенцу быстрее отыскать лежавшие на стерне зерна.

Со стороны могло показаться, что журавли ведут себя довольно беспечно. Но это далеко не так. Трудно найти более осторожную птицу. Застать ее врасплох удастся крайне редко. Журавль прекрасно угадывает, откуда и от кого грозит ему реальная опасность. Он внимательно изучает местность, где обычно кормится. Спокойно поглядывает журавль на мирно пасущихся на краю поля коров, пастуха, на проезжающие мимо трактора и машины, и не думая от них

скрываться. Но он сразу замечает появление нового человека.

Стая журавлей, расположившись на кормежку или на отдых, всегда выставляет часовых, которые наделено охраняют своих товарищей. Часовыми бывают только старые птицы, и, когда одна устает, ее заменяет другая. При этом чем многочисленнее стая, а в ней иногда можно насчитать больше трехсот птиц, тем осторожнее журавли. Когда появляется опасность, сторожа тут же предупреждают о ней особым криком. Спящая где-нибудь на опушке

березового леса стая пробуждается быстро, но так как журавли – птицы дневные, ночная тревога всегда приводит их в некоторое замешательство.

Серый журавль – сильная и ловкая птица и, будучи раненым, может стать опасным даже для человека/ Если у него повреждены крылья и улететь не удастся, он опрокидывается на спину и начинает мощно бить ногами и клювом. При всей своей осторожности журавль не труслив, а скорее храбр. Ученые отмечали случаи, когда он вступал в бой с крупными орлами.

...Час проходил за часом, давно поднялось солнце, а журавли все не изъявляли желаний поживиться нашей приманкой – рассыпанные зерна снова остались нетронутыми.

Итак, мы уезжали с поля несолоно хлебавши. Опять неудача. Не первая и, наверное, не последняя. Дело-то у работников заповедника тонкое, непростое. Хотя иному и кажется: чего, мол, они там фантазиями занимаются, лучше бы синица в руках, чем...

Нет, пусть лучше будет журавль в небе.

Путешествие 6-е



Мы побывали в лесах, на реках и болотах, говорили о воде и земле, но еще ничего не сказали о мещерском небе. «А что в нем такого особенного?» – спросит читатель. Я тоже считал: ничего необычного, небо как небо. Но однажды услышал, как летчик-космонавт дважды Герой Советского Союза Владимир Викторович Аксенов сказал, отвечая на вопросы корреспондента: «В детстве я любил смотреть в небо, на большие плывущие облака. Они останавливались, когда кончался ветер, отдыхали. Наше деревенское небо казалось мне необычным. Хотелось разбежаться, подпрыгнуть и полететь в бездонную синеву».

Космонавт Аксенов родом из мещерской деревни Гиблицы...

Воздушные шары

В наш космический век воздушным шаром не удивишь. А ведь, кажется, еще недавно одно его появление где-нибудь в столичном небе могло собрать многотысячную толпу любопытствующих. Теперь представьте себе, какой переполох должен был вызвать подобный полет в мещерской стороне.

Впервые жители приокской Мещеры увидели высоко в небе аэростат 17 октября 1912 года. Он проплыл над Сельцами, над осенними пойменными лугами, над стоящим на крутом берегу селом Константиновом и наверняка полетел бы дальше, если бы не поднялась неожиданная метель. Аэронавты принуждены были сесть в версте от станции Рыбное.

Начал собираться народ из окрестных деревень – поглядеть на диковину. Рассматривали плетенную из лозняка гондолу, щупали канаты, пытались расспросить свалившихся на голову гостей. Но сделать это оказалось

непросто: небесные пришельцы не знали ни слова по-русски...

Известные в авиации французы Морис Бьенеме и Рене Румпельмейер стартовали из Штутгарта в Германии 14 октября. В этот день разыгрывался кубок Беннета. В полет отправились двадцать два аэростата, экипажи которых надеялись взять приз за продолжительность полета. Французы сбились с курса, и их занесло в рязанское небо.

Рыбновские крестьяне отнеслись к аэронавтам с пониманием: быстро были занаряжены две подводы, на которых воздушный шар доставили на железнодорожную станцию.

Через год, в конце ноября, диковинный аппарат залетел прямо в мещерский лес. В урочище Красный Холм крестьяне села Шехмина столкнулись на охоте с воздушным шаром, который поначалу приняли за привидение. Держа ружья на прицеле, подошли к чудищу. При нем обнаружили записку: «Казенное. О находке сообщить». Около шара, который доставили в Шехмино, побывало все местное население.

Так началось знакомство мещеряков с аэронавтикой, при этом была проявлена исключительная для той поры любознательность – черта для местных жителей характернейшая. Их жизнь никогда не грешила однообразием, непонятных явлений вокруг было хоть отбавляй, и каждому следовало подыскать подходящее объяснение. Это рождало живой, неподдельный интерес.

Помню, в одном из архивов мне попался любопытный документ – перечень вопросов, которые задавали мещерские крестьяне редакции губернской газеты в 1925 году. Вопросы были разные – смешные и серьезные. Вот некоторые из них: «Вредно ли носить калоши?», «Почему человек говорит, а обезьяна нет?», «Как избавиться от нервов?», «Полезно ли для здоровья пение песен?», «Почему луна на землю не падает?»

...Попав на окраину Мещеры, мы прошли как-то мимо деревеньки Марьевки. Правда, деревней два оставшихся дома можно назвать лишь условно. Хутор. Это больше теперь подходит. Здесь родился известный в прошлом авиатор Александр Алексеевич Васильев. Герой знаменитого перелета Петербург – Москва заслуживает того, чтобы рассказать о нем подробнее, тем более что известно о нем мало.

Сначала Васильев избрал для себя карьеру правоведа и закончил юридический факультет Казанского университета. Но когда успешные полеты братьев Райт, Блерио всколыхнули романтические души, среди горячих поклонников юной авиации оказался и Александр Васильев.

Это было время, когда весь мир следил за первыми перелетами, когда авиаторы становились национальными героями, а светские дамы с гордостью показывали своим подругам пятна на платьях, оставленные маслом, капавшим с летящих аэропланов.

Посмотрите газеты тех лет. Они пестрят сенсационными сообщениями о рекордных полетах, успешных выступлениях и первых авиационных катастрофах.

Александр Васильев получил диплом авиатора в школе Луи Блерио. Первые же его полеты привлекли внимание публики, а после того, как в ноябре 1910 года за один час пятьдесят пять минут был совершен двухсоткилометровый перелет из Елизаветполя в Тифлис, Васильев становится одним из популярнейших авиаторов России. Вот как писал о нем журнал «Вестник воздухоплавания»: «Сухощавый, но крепкий и ловкий, с пронзительными живыми глазами, он производит впечатление

человека, попавшего в свою сферу».

В 1911 году Всероссийский аэроклуб решил организовать перелет Петербург – Москва. Предприятие по тем временам отчаянно смелое. Непросто на примитивном аэроплане преодолеть сотни километров. Созданный вскоре организационный комитет возглавили люди, далекие от авиации. Вместо помощи они создавали дополнительные трудности для участников перелета. Но и это не смогло остановить энтузиастов: прославленного Сергея Уточкина, Максима Лерхе, Георгия Янковского, Владимира Слюсаренко, Бориса Масленникова.

Среди тех, кто дал согласие на участие в перелете, мы находим и Александра Васильева. Перед полетом

он заявил журналистам: «Чем труднее поставленная задача, чем больше препятствий готовит мне в пути загадочная стихия, небрежность устроителей, – тем с большим упорством буду я добиваться раз намеченной цели! Необходимо с честью для России выйти из этого трудного испытания. Я не мог, не имел права сложить оружие, не используя всех возможностей помочь делу национального воздухоплавания».

В ночь на 10 июля 1911 года тысячи петербуржцев отправились на Комендантский аэродром. Наверняка среди них был и поэт Александр Блок, неизменный посетитель всех демонстрационных полетов, живо интересовавшийся успехами молодой авиации. «В полетах людей, даже неудачных, есть что-то древнее и сужденное человечеству, следовательно – высокое», – читаем мы в одном из его писем. «Крылатые люди» вдохновили его на стихотворение, которое он назвал «Авиатор».

Летун отпущен на свободу.

Качнув две лопасти свои,

Как чудище морское в воду,

Скользнул в воздушные струи...

Перелет Петербург – Москва начался в три часа ночи. Лететь предстояло вдоль шоссе, идущего через Новгород, Вышний Волочек, Тверь и Клин. Это давало возможность делать посадки и заправляться в заранее подготовленных местах. Неподалеку от Новгорода Васильев, стартовавший одним из последних, увидел на шоссе аэроплан Уточкина. Его машина отказала. Посадка. Уточкин, проявив истинное благородство, отдал товарищу свои запасные свечи.

Впервые в истории преодолев расстояние в 752 километра, Александр Васильев, единственный из участников перелета, приземлился в Москве на Ходынском поле. Позже он вспоминал об этих минутах: «Окружает толпа. Жмут руки, что-то говорят. Я ничего не понимаю и только стараюсь спрятать окровавленные руки, которым эта ласка причиняет нестерпимую боль. Кто-то спрашивает, как долетел. Я не помню, что говорил. Из смутных воспоминаний выделяются знакомые лица, которые берут меня за руки и насильно усаживают в автомобиль».

Вот все, что удалось мне узнать об авиаторе Васильеве.

...Под мещерским небом родился и великий мечтатель Константин Эдуардович Циолковский. Он был сыном спасского уездного лесничего, выбравшего для жительства большое мещерское село Ижевское. Теперь здесь, на родине гениального провидца, открыт музей.

Я хорошо помню, как в середине шестидесятых годов в Рязани появился бывший сельский учитель Анатолий Иванович Коваль. Представительный, седоголовый, он походил на профессора университета. Коваль был готов

каждому желающему рассказывать о Циолковском, о своей идее создать на его родине в Ижевском музей. И сейчас вспоминаю его старый кожаный портфель, набитый документами, фотографиями, письмами.

Академия наук, Ленинская библиотека, Политехнический музей, Звездный городок – везде побывал ходок из Ижевского Анатолий Иванович Коваль.

В сентябре 1967 года порог маленького сельского музея переступил первый посетитель. Коваль был чрезвычайно горд, что Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге открылся на 16 дней позже.

В Ижевское собирался приехать Юрий Гагарин, но трагическая гибель помешала его встрече с родиной Циолковского.

Шли годы, музей перебрался в новое здание, все больше становилось экспонатов. Теперь его можно не боясь назвать одним из лучших провинциальных музеев страны.

В этом кратком экскурсе рассказывать о жизни Циолковского, я думаю, не стоит – о ней достаточно много и подробно написано. Скажу лишь о нескольких фактах его биографии, которые показались мне интересными.

Впервые воображение Кости Циолковского было потрясено, когда он, восьмилетний веселый мальчик, взял за нитку из рук матери воздушный шар. Шар был выдут из коллодиума и наполнен водородом. И хотя подобные игрушки дарили и другим детям, для маленького Кости рвущийся в небо воздушный шарик был знаком судьбы. Она же постаралась отобрать у будущего гениального ученого все мешающее воплощению идеи. Многие привлекательные краски жизни померкли, когда в десять лет после перенесенной же

стойкой скарлатины мальчик стал глухим на всю жизнь...

В автобиографии уже стоявший на пороге вечности Циолковский вспоминает, какое огромное впечатление произвел на него молодой публицист Писарев. В нем он увидел тогда свое второе «я». Мне показалось важным попробовать найти те строки, которые могли особо запомниться Константину Эдуардовичу. Перечитал Писарева и, кажется, нашел то, что искал: «Замечательные умы, направленные к такому труду, который поглощает все их силы и удовлетворяет всем их потребностям, находят именно в этом труде незыблемую точку опоры для своей нравственной самостоятельности. Они влюбляются в свои идеи, и эти идеи, становясь для них дороже выгод и удобств жизни, делают их свободными и великими, непоколебимыми и му ж ественными»...

Накануне солнечного затмения в 1887 году Циолковский поздно вечером возвращался от одного своего московского знакомого. На улице ему встретился колодец. На его срубе что-то блестело. Это были ярко светившиеся большие гнилушки. Циолковский набрал их и пошел домой. Там он раздробил гнилушки на кусочки и разбросал по комнате. Они, как звезды, тихо светились в темноте. Несмотря на поздний час, пришли соседи, и все долго смотрели на рукотворное звездное небо...

Что видно с высоты

Один мой знакомый летчик шутил: «Сверху видно не все, но кое-что интересное». Это веселая присказка становится вдвойне верной в лесном краю. В степи оком просторен, а вот поди загляни за глухой частокос сосняка! Хорошо, когда ваше любопытство, так сказать, местного масштаба и не идет дальше поисков грибной поляны или поспевающего малинника. А если надо

вовремя заметить первые дымы лесного пожара, устроить переучет всего лосиного стада? Ясно, что тут без помощи авиации не обойтись.

Летающий на небольшой высоте труженик Ан-2 в Мещере не редкость. В первую очередь он доставляет пассажиров. Даже в самые «медвежьи углы». Но вы

ручает и пожарников, лесоустроителей, охотоведов, гидрологов,— в общем, всех, кому профессионально необходим пристальный взгляд с высоты.

Каждый год рязанские охотоведы организуют весенний осмотр своих владений. Объекты их наблюдений – лоси, олени, кабаны – среди голых ветвей видны в это время года особенно отчетливо. Помогает и специальная методика учета, при которой для полета выбирается оптимальный маршрут.

Мы поднялись в воздух ранним утром, когда сползший в ложбины туман начал медленно таять, как пригретый солнцем снег. Горизонт скоро очистился от сизой дымки, и мы смогли беспрепятственно обозревать далекие лесные окрестности.

Человеку, большую часть жизни проводящему на земле, видно, никогда не привыкнуть к полету. Чувствуешь себя смотрящим на дно огромного аквариума. С трудом находишь знакомые ориентиры из-за того, что они потеряли привычный на земле объем. Тут же вступаешь в конфликт со сторонами света: далеко не сразу удастся определить нужное направление. Но эти проблемы неведомы летчикам. Небо – это их родная стихия. Поэтому мы уверенно ложимся на «боевой» курс и мои попутчики берутся за бинокли и блокноты. Кто-то уже машет рукой соседу и приглашает заглянуть в иллюминатор: справа под нами на краю лесосеки тревожно замерло лосиное семейство. Звери стоят мордами друг к другу, образуя треугольник. В этой геометрической фигуре, показалось, заложен весь смысл их бытия.

Через несколько минут полета мы увидели еще несколько лосей, которые неторопливо шли по лесной дороге. Рядом, в предвкушении дневного тепла, затеяли возню кабаны. По всему было видно, что шум мотора обитателей леса не очень беспокоит. Еще одна семья лосей при нашем появлении даже не стала прерывать свой завтрак: самолет давно доказал лосям свое миролюбие и не входил в число их заклятых врагов...

Что же еще нам было видно сверху? Лосей в мещерских лесах заметно прибавилось, и теперь все чаще разгораются споры о полезности этого зверя в лесу. Действительно, нередко лоси сильно повреждают хвойные молодняки и лесопосадки. Так, в соседней с Рязанской Тульской области, по подсчетам лесников, они

нанесли ущерб дубовым посадкам в 20 миллионов рублей. Из этого выходит, что стоимость каждого лося для народного хозяйства выливается в кругленькую сумму – тысячу рублей. Если своевременно не принять меры, эта цифра увеличится вдвое, а то и втрое.

Нормальной плотностью заселения считается пять лосей на тысячу гектаров леса. В Мещере она несколько больше, поэтому иные ревнители «зеленого друга» ставят ребром: или лось, или лес. Отрегулировать число животных не так-то просто. Они мигрируют и подчас в поисках пищи уходят на значительные расстояния. Следовательно, приниматься за такую работу надо согласованно, на территории нескольких областей сразу.

Есть из создавшейся конфликтной ситуации и такой выход: выкладывать в лесу солонцы, подрубать в бескормицу бросовый осинник, высаживать подкормочные полосы из любимой лосями ивы, рябины, лиственных пород.

После получаса полета мы заметили на одной из опушек небольшое стадо

оленей. Встреча была для нас радостной: ведь эти животные в Мещере поселились недавно. И помог этому человек. Всего месяца полтора назад, зимой, я принимал участие в оленьем новоселье. А дело было так. К заветной опушке, где должно было состояться новоселье, мы добирались больше часа. Накануне дорогу к лесу расчистили, но с утра задул с полей ветер, и снег стал переметать колею-временку, заставляя машины зарываться в сугробы.

Лес встретил нас настороженной тишиной. Неделю назад здесь промышляла разбойная стая волков. Трех из них местные охотники записали на свой счет, а два волка ушли неизвестно куда. Но напуганное зверье разбежалось, так что встречать наш автомобильнотракторный караван было некому.

К новоселью члены Путятинского районного общества охотников и рыболовов приготовились загодя: присмотрели подходящую поляну, заготовили на первый случай корму, соли.

По инициативе областного Общества охотников и рыболовов в путятинские леса привезли пятнадцать европейских оленей. Дело это хоть и не новое, но редкое: ведь оленей завозили к нам всего несколько раз. Впервые это было в 1965 году. Тридцать два оленя из

Воронежского заповедника, где ои, кстати, прекрасно прижились, выпустили в охотохозяйства Ряжского и Шиловского районов. В первый же год у шести оленей появилось потомство.

В 1970 году еще одна группа оленей была выпущена в мещерские леса. Сейчас, по подсчетам специалистов, оленье стадо в Рязанской области составляет свыше 400 животных.

Оленей привезли из заповедника в специальных деревянных контейнерах, предварительно отпилив у самцов рога: в дальней дороге их немудрено было сломать. Контейнеры осторожно опустили с машин на снег, открыли дверцы, и олени один за другим стали исчезать в лесу. Достаточно большие, массивные, они делали неожиданно легкие, грациозные прыжки, взбивая под собой пену снега. Немного отбежав от поляны, олени успокаивались и возвращались, оставаясь, однако, на почтительном расстоянии от нас. Скоро все пятнадцать были на воле.

Выпустить животных казалось делом несложным, но эта процедура заняла у нас часа полтора: глубокий снег не давал развернуться. Я представил, как непросто было отловить пугливых оленей в заповеднике. Их усыпляли специальными «пулями», посланными из духового ружья, затем несли на носилках по лесу до ближайшей просеки, укладывали в контейнер. И все эти сложности, все эти машины, люди, тракторы были пущены в дело с единственной целью – дать оленям новую родину.

– Им у нас будет хорошо,– улыбаясь сказал мне один из охотоведов.– Мы возьмем их под свою опеку и защиту. Главное сейчас – спасти их от волков и бродячих собак. Одичавшие собаки, кстати, опаснее любого волка. На их пути оленю лучше не попадаться. Но и человек может нанести непоправимый вред.

Когда-то, до XVIII века, олень был на юге нынешней территории области животным достаточно обычным. На север, в мещерские дебри, он заходил редко: ведь европейский олень больше любит лесостепи. В прошлом веке животное исчезло окончательно, и только сейчас робко, не без помощи человека, начинает осваивать давно забытые места.

Европейского оленя называют еще благородным. Красивая внешность и гордый нрав дают к этому основания. Животное достаточно крупное – отдельные

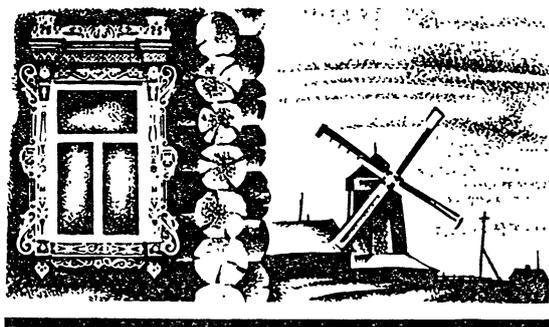
экземпляры весят до полутонны. Рога сильно ветвятся и обычно имеют не меньше пяти отростков. В пределах Советского Союза европейский олень встречается и в Прибалтике, и в Закавказье, и в Казахстане, и на Дальнем Востоке. Живущие в разных местах олени несколько отличаются друг от друга и носят свои имена – хангул, марал, изюбрь.

Олени держатся стадом. Летом они пасутся с вечера до утренней зари, иногда отдыхая ночью. Зимой кормящихся животных можно встретить в любое время суток. Олени едят траву, молодые ветки кустарников, ягоды, грибы, желуди, а зимой – кору деревьев.

Оленята появляются обычно в мае – июне. На втором году жизни у молодого бычка вырастают прямые рожки. Смена рогов проходит ежегодно в конце февраля – начале марта.

В тот день мы оленей больше не встретили: маловато их еще в мещерских лесах. Но взгляд с высоты обнадеживает...

Путешествие 7-е



Поезжайте в Касимов, эту столицу Мещерского края, на воскресный базар. Много чего любопытного, особенно для городских жителей, а то и диковинного сможете там увидеть. Бондарь выкатит на площадь бочки: большие, двадцативедерные, для огурцов, пятилитровые под мед, кадки для разных солений... У старинных, еще в прошлом веке построенных торговых рядов обязательно устроятся ложечники со своим расписным товаром. Рядом увидишь слесаря-универсала с набором нужных любому хозяйственному человеку инструментов. Если повезет, купите и самопрялку, и гармонь с бубенцами, и кружевного плетения крепкую ивовую корзину.

Всегда была щедра Мещера на ремесло. Слабосильная земля давным-давно заставила крестьянина раскинуть умом и выбрать для подкрепления хозяйства сподручный промысел, который позже пустил крепкие корни и стал переходить по завещанию от отца к сыну.

В «Атласе Рязанского наместничества», составленном в 1794 году, читаем: «Жители в сей части (Мещеры.– В. П.) почти все живут не хлебопашеством, а промышляют большею частию лесом и рыбною ловлею и делают всякие деревянные как к земледелию, так и к прочим крестьянским надобностям служащих инструменты, также ткнут циновки и рогожи, дерут луб, тешут, строгают доски и кокоры, что все вывозят на продажу в Рязань, Спасск, Касимов, в Егорьевск и Коломну».

Ремеслом занимались большей частью не в одиночку – артельно. Целая деревня, бывало, жгла уголь или плела корзины. Конечно, были такие промыслы, которые требовали коллективных усилий, но не последнюю роль сыграло здесь известное деревенское стремление не отстать от других,

вовремя подхватить почин соседа, чтобы не быть белой вороной. Тем более что за учителями не надо было ехать за тридевять земель и секретов от своих, деревенских, не держали.

Какие же промыслы укрепились в Мещере? На этот вопрос мне помогла ответить небольшая книга, хранящаяся в Рязанском государственном архиве. Она называется «Населенные места Рязанской губернии», а издана в 1906 году. Огромный список сел и всех мало-мальски приметных деревень. Против каждого населенного пункта указание на род занятий местных крестьян. Книга рассказала мне, что в начале нынешнего века мещеряки плели рыболовные сети, ткали рогожные кули, жгли уголь, снаряжали обозы, красили ольховыми шишками полотно, дубили овчины, шили картузы и шапки, делали крепкие сундуки, рубили на продажу дрова, плели корзины, выделывали глиняную посуду, точили веретена, мастерили самопрялки, писали иконы, били шерсть, делали бочки, рыли колодцы, рубили избы.

Одно время в Касимовском уезде процветала набойка. Красивые, под дорожную парчу, набивные ткани делали в Гиблицах, Погосте, Ибердусе. Набойка производилась вручную. Рисунок, вырезанный на дощечке или «манере», смазанный краской, прикладывали к ткани как печать. Но дощечке били деревянным молотком, который, правда, с успехом заменяли кулаком – «отцовской колотушкой». В конце прошлого века набойка исчезла, но в двадцатые годы возродилась вновь. По деревням пошли бродячие «синильщики», к великому удовольствию крестьян, стосковавшихся по ярким, нарядным тканям.

На реке Гусь процветало судостроение. Делались знаменитые «гусяны» – большие деревянные баржи. Они обеспечивали торговлю по Оке и Волге.

Были свои коновалы – лошадиные лекари, считавшиеся и специалистами по части «пустить руду» – сделать кровопускание. Из села Петровици Спасского уезда ежегодно почти сто коновалов уходили на заработки в разные уголки России.

На всю Мещеру славились кидусовские углежогы, хотя уголь жгли во многих местах. Он был нужен в больших количествах для баташовских железоделательных заводов. Промысел был нелегким. С весны до зимы уходили углежогы в леса. Пил не было, так что толстый лес рубили топорами. Когда бревен и сучьев бывало наготовлено в достатке, выбирали место для выжига. В середину вбивали рогулю покрепче и обкладывали лучиной для затопки. После этого укладывали по кругу нарубленное сухое дерево: один, а следом второй ряд. Всю кучу обносили толстыми бревнами, щели между ними затыкали и закидывали землей и листьями. С помощью факела на длинной ручке зажигали затопку в центре кучи. Так она и горела дней десять – двенадцать. К тому времени внизу оставался уже древесный уголь.

Из бересты гнали деготь высокого качества. По три пуда собранной бересты набивали в кубы и разогревали. Деготь выходил наружу в виде паров и, охлаждаясь в трубках, превращался в тот самый товар, что был пригоден и для сапог, и для колес...

Занимались мещерские крестьяне и извозом. Он был в обычае жителей заокских деревень Шумашь, Давыдово, Заборье. Когда еще извозчикам не могли составить конкуренцию ни железные дороги, ни почтовые дилижансы, мужик на лошадке был нарасхват. Среди извозчиков находились и свои «аристократы» – троечники, ездившие постоянно на лихой тройке. Синий кафтан внакидку на красную рубашку, плисовые шаровары, низенькая пуховая шляпа с павлиньим пером сразу выделяли удалого троечника.

Но был и «низший разряд» – одиночники, не брезговавшие никакими заказами. На своей единственной лошади возили они и шерсть, и пеньку, и муку, а если подвернется случай, и неприхотливого седока.

Каждый год из Мещеры растекался по России мастеровой люд. В отход уходило до 15 процентов мужского населения. В конце прошлого века это составляло ни много ни мало – 70 тысяч человек.

Плотники, сбившись в артели, отправлялись в Москву и Нижний. Бондарей ждали рыбаки Каспия и портового города Риги. Поволжье было освоено шерстобитами. Смолокуры и углежогги промышляли в Финляндии. Мещерякам – людям опытным и умелым – был везде почет и уважение. Не зря говорили на Руси:

«Не то дорого, что красного золота, а то дорого, что доброго мастерства».

В конце прошлого века рязанская губернская газета писала: «За Окою, в Мещерской стороне, мануфактурная и промысловая жизнь в полном развитии... здесь же на каждом шагу встречаются самые разнообразные сельские промыслы и ремесла... Сельское хозяйство служит уже подспорьем другим занятиям, более прибыльным... Одним словом, отовсюду веет на этот край духом промыслов».

Немало воды утекло с тех пор. Одни ремесла безвозвратно ушли, другие живы и поныне, превратившись в современные производства. Так, в Касимове есть известная всем рыбакам страны сетевязальная фабрика. Модные дубленки шьют на другой фабрике – овчинно-меховой. В Гусь-Железном – бондарный цех, в Новой Деревне – обозный завод.

Встретишь еще и хранителей дедовских секретов, мастеров старого закала. Но все меньше их в мещерской стороне: пересыхают родники исконных промыслов, которые, уверен, могли бы еще долго питать и нашу с вами жизнь...

Прав был поэт Арсений Тарковский, говоря:

*Наблюдать умиранье ремесел
Все равно что себя хоронить...*

Поводов к таким печальным раздумьям, увы, достаточно. Но есть примеры и другого свойства. Они вселяют надежду. С такой надеждой мы и отправились в наше следующее путешествие...

Плотник

Нет обидней для любого мастера услышать: «Топорная работа». А мне думается, не должно быть выше похвалы, если, конечно, иметь в виду топорную работу не какого-нибудь неумехи, а самородного мещерского мастера, который своим нехитрым инструментом горазд и избу срубить, и деревянные кружева нарезать, и обоз снарядить.

Так что топор обижают напрасно. Расписная ложка «межеумок», которой до недавнего времени вся православная Русь выбирала из горшков крутую кашу и хлебала щи; резные северные прялки, что давно стали украшением музеев; праздничные выездные санки; прославленные на весь мир Кижы – все это производные обыкновенного топора.

«Топор, – говорится в одной из русских пословиц, – всему голова». «Кабы бог не дал топора, так бы утопиться давно пора», – вторит другая.

С незапамятных времен все большие и малые плотничные работы производились на Руси топором, этим универсальным орудием, которым русский человек, по замечанию Льва Толстого, мог и дом поставить, и ложку вырезать.

Топор сзади, наискосок по спине, закрепленный в петле кушака, – главное

отличие плотника. У каждого имелся свой наработанный инструмент, в котором плотник души не чаял, никогда не давал его чужому, да и свояку – только в исключительных случаях.

Кстати, мастеров топорного дела плотниками стали называть позже. Первоначально слово «плотник», очевидно, обозначало «сплавщик леса», «плывущий на плотах».

В. Даль дает такое толкование: плотник – аргун, древодел, рабочий для лесных поделок и строений. В словаре приводится перечень плотничных инструментов, среди которых кроме топора долото, грубый наструг, наверток, нитка, отвес и драч. Пила появилась в этом наборе позже.

Плотник как мастерской-специалист – порождение не деревни, а города. В селе каждый крестьянин мог отменно владеть топором. Избу, баньку, колодец – все он рубил себе сам, приглашая в помощники соседей или родственников. В древоделах нуждался город, даже тогда, когда дерево стал теснить кирпич, а затем и бетон. Не зря говорили в народе: «Плотниковы заработки – на стороне», «С топором весь свет обойдешь».

«Жители сего района (Мещеры.– В. Я.), по худобе у них пашенной земли, имеют ремесло топорное и отходят по пашпортам в разные города для строения домов и прочаго...» – читаем мы в документе, составленном еще в екатерининские времена. Плотники широко ходили по земле. Клепиковский мастер Андрей Тулупов добрался, говорят, даже до Австралии.

«Въездной визой» в заморские страны служило высокого класса мастерство. Следует учесть, что везде были и свои, местные древоделы. Только ремесло, воз

веденное в степень таланта, Могло выдержать конкуренцию. А о том, что мещерские плотники были отменно даровиты, говорит хотя бы такой факт.

В 1812 году прихожане Моршанска решили выстроить новую церковь, а старую передвинуть, чтобы не мешала строительству. Патентованный иностранный механик предложил свои услуги, но заломил такую цену, что согласиться было невозможно. Тогда за дело взялся рязанский плотник, крепостной Дмитрий Петров «с сотоварищи». Под деревянную церковь подвели толстые бревна и с помощью земляной насыпи слегка ее приподняли. После этого сделали под церковь новый бревенчатый фундамент вроде полатей, а под бревнами устроили катки.

Когда все было готово, ударили в большой колокол. На благовест собрался народ. Некоторые вошли в церковь и стали служить молебен, другие же начали помогать Петрову. Церковь, наполненная молящимися, оглашаемая пением и колокольным звоном, была сдвинута с прежнего места на 30 метров. Во время движения лишь крест на верху церкви слегка колебался. Это был, по видимому, первый отечественный опыт передвижения зданий.

Плотников-отходников в Мещере было множество. В своей знаменитой работе «Развитие капитализма в России» Владимир Ильич Ленин писал, что из Рязанской губернии, по официальным данным 1875 – 1876 годов, выходило в год не менее 20 тысяч одних плотников. Подавляющее большинство из них составляли коренные мещеряки. Скорее всего им мы обязаны известным прозвищем «Рязань косопузая»: топор, засунутый за кушак и его перекосивший, дал повод к такой насмешке.

На заработки ходили только артелями во главе с большаком, самым опытным и ловким в переговорах с заказчиками. Хотя плотничные работы оплачивались довольно высоко, никому не хотелось прогадать. Если все-таки артель не получала сполна, плотники устраивали свой «расчет»: под коньком

на крыше они втайне прилаживали длинный ящичек без передней стенки, набитый берестой. Вечером или ночью в дурную ветреную погоду над головой притихших от страха хозяев нового дома слышался такой стон и вой, что трудно было не помянуть черта или домового.

Поэтому плотников задабривали загодя. Когда его-варивались насчет условий – пили «заручное». После того как укладывали первый венец – хозяева подносили «обложейное». Когда заготовленный сруб ставили на указанное место – снова пили, «мшили» избу. Существовал обычай «обсевать» матицу – балку, которая кладется поперек всей избы и служит основой потолка. Хозяин ставил в красном углу еще недостроенной избы зеленую веточку березки, а один из плотников пригоршнями рассеивал по избе зерно или хмель. Таким образом отгонялась нечистая сила.

Хорошо срубленная изба служила хозяевам долго. Так, деревянный дом в Сольвычегодске знаменитых богачей Строгановых выстоял 233 года. Был построен в 1565-м, а разобран в 1798 году...

В Мещере, по всей видимости, почти не строили таких огромных и прочных домов, какие найдешь на русском севере, – в два этажа, с взвозом, верхними и нижними избами. В отчетах этнографов о результатах экспедиции двадцатых годов указаний на обратное я не обнаружил. Преобладал северный тип построек, когда избу ставили торцом к улице, а все хозяйственные помещения смыкали в один закрытый двор. Но все это явно уступало по размерам коренным северным избам. Причин тому много. И среди главных – вечная боязнь пожаров, которые душили Мещеру чаще и беспощаднее, чем, скажем, Заонежье.

Не последнее слово сказала и мода: ведь существовала она не только на картузы и сапоги. Мещерские плотники обслуживали город и строили дома «на городской манер», привнося затем чужие вкусы к себе в деревню. Мutilась чистота плотницких традиций. Сдержанная резьба наличников сменялась неуклюжей росписью «под белый камень». Живописное крылечко становилось верандой. Дранка и гонт, делавшие крыши изб похожими на еловые шишки, постепенно вытеснялись холодным для глаза кровельным железом.

Рядом с такими «цивилизованными» домами долго держались по селам и деревням курные избы. Но они никак не соответствовали нашим, приобретенным еще в школе, представлениям об убогой лачуге последнего бедняка. Были уютны и опрятны, если, конечно, попадалась работающая хозяйка. Система вентиляции и дымоотвода продумывалась тщательно, опираясь на вековой опыт. Дым из печи уходил к потолку и вытекал наружу, опускаясь до определенного, всегда постоянного уровня – чуть выше человеческого роста.

Самый старый дом с пристройками, какой довелось нам увидеть в Мещере, имел возраст 120 лет. Патриарх уже дышал на ладан, но все же давал представление о настоящей мещерской усадьбе, нетронутой напористой новизной. Сруб с углами, рубленными «в чашу», небольшие оконца, украшенные простой резьбой, крытая дранью крыша, ворота с двускатным навесом тоже из дранки, сушило, загон для скотины, сарайчик, где складывались нехитрые крестьянские орудия, ветхая банька. Усадьба тихо доживала последние дни под сенью раскидистой ветлы.

Но видели мы и иные дома – другого времени, другого духа.

...Дом Василия Александровича Будорагина невозможно не заметить. Он стоит на улице, надвое пересекающей поселок Сынтул. Все, кто проходит или проезжает, его не минуют. Еще издали заметны светлые резные наличники,

богато украшенное слуховое окно, деревянные подзоры. В будорагинском доме все скроено и пригнано на славу, все крепко и надежно. И красиво, как может быть красив деревянный дом, сработанный умелым мастером, не лишенным чувства меры и пропорции. «Красно сделано» – так сказали бы о доме в старину.

Познакомившись с хозяином, мы узнали, что пятистенок поставили на месте пустыря двадцать пять лет назад, когда родился у Будорагиных средний сын – Сашка. Решили тогда уйти из старого отцовского дома и жить отдельно.

Плотников нанимать не пришлось. Дед и отец Василия Александровича были потомственными древо- делами. Дед ходил вместе с другими мещерскими плотниками строить Каширскую ГРЭС, московский завод «Шарикоподшипник», Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. На выставке сооружали павильоны, строили конюшни, за что получили благодарности от Семена Михайловича Буденного.

Отец Будорагина прославился замечательными конями, которых резал из податливой липы. Все сын- тульские ребяташки играли с этими раскрашенными лошадками.

Вначале Васю Будорагина научили сапожничать – в деревне умение не лишнее. Мальчишка подшивал валенки, латал собственные ботинки. Потом соорудил бабке новые тапочки на мягком ходу. В четвертом классе Вася не успел еще как следует познакомиться с алгеброй и геометрией, а сапожным молотком, острым, как бритва, ножом, шилом и другим инструментом владел уверенно.

Шла война, и четвероклассник Вася Будорагин решил шить для фронта сапоги. Он вполне мог осуществить свое намерение, если бы не скудный запас кожи, дратвы и гвоздей, которые надо было выдергивать из старых отцовских башмаков. Правда, их было всего две пары, а отец писал с передовой, что скоро вернется с победой, значит, хотя бы одну пару следовало сохранить в неприкосновенности. Башмаки, поддерживаемые в образцовом состоянии, пролежали до сорок пятого. Но отец с войны так и не вернулся...

Зимой сорок четвертого года в сынтульской школе решили организовать вечер с концертом и танцами под патефон. Молодой учительнице Александре Александровне очень хотелось прийти на вечер не в подшитых валенках, а в туфлях, какие носили еще до войны. Но где было взять модельные туфли в занесенном снегом, казалось, забытом всем миром Сын- туле?

Вася Будорагин как-то узнал об этом и решил сделать любимой учительнице подарок. Не одну ночь просидел у керосинки, из клочков кожи изобретая самодельные туфли, и накануне вечера принес в школу завернутую в тряпицу обновку.

Представляю тот вечер в тесном классе маленькой сельской школы: плавно скользит по черному диску патефонная игла, танцующие (дама с дамой) пары, у жарко натопленной печки стоят одинокие валенки учительницы русского языка Александры Александровны. Первый за многие годы школьный вечер, когда старенькие валенки оказались не у дел...

Плотничать Василия Будорагина принялся учить дед. Сначала вприглядку, потом «вприкуску». Показывал, как настраивать инструмент, какое выбирать дерево, как с ним обойтись, чтоб не загубить. Когда Василий Александрович решил строить собственный дом, дедова наука пригодилась.

Бревна для будущего сруба заготовили зимой, дали им вылежаться до весны. Как только проглянуло солнце, размягчило древесину, принялись за дело.

Март и апрель пропустить было нельзя. Позже дерево начинает коробиться, сложней становится пригонка бревен, больше уходит материала.

Сруб поставили на высокий каменный фундамент. Углы положили «в лапу», чтобы можно было обшить наружные стены тесом. Ниже оконных проемов Будорагин пустил рейку вертикально, а выше – «елочкой». Крышу устроил четырехскатной, с большим слуховым окном под веселым козырьком. Крыльцо получилось совсем городским: без скамеек для посиделок, с фигурной крышей. Но главным украшением дома стали резные наличники. Здесь и проявился настоящий талант плотника Будорагина.

Какой он только резьбой не овладел! Может тонко нанести контурную, тогда характер дерева остается неизменным, а рисунок будто проступает сквозь березовую или липовую дымку. Трехгранно-выемчатая уже дает резчику больше воли, удивляя совершенством геометрических линий, образованных треугольниками, ромбами, квадратами и розетками. Рельефная резьба сродни деревянной скульптуре, поэтому требует чувства объема, твердой, но не скованной в движении руки.

Для своих наличников, классических прямоугольных карнизов Будорагин выбрал резьбу пропильную, чуть дополнив ее планками токарной работы. Сам придумал рисунок – изысканный, свободный, какой редко увидишь в причелинах и полотенцах старинных северных изб. С таким уж очень вроде «городским» рисунком можно было и переборщить, соблазниться «сработать под лепнину», но будорагинская резьба оказалось легкой, похожей на плакучие ветви той березы, из которой была сделана по заранее подготовленным лекалам.

Наличники и резные подзоры под крышей осветили дом постоянным и ровным светом, их хорошо было видно даже ночью. Люди приходили специально поглядеть на них, а некоторые, зараженные красотой, уносили с собой лекала Будорагина. Заходили из окрестных сел, перенимали «манер» и делали похожее у себя, но так, как у Будорагина, все равно не выходило.

Показал нам Василий Александрович свою маленькую мастерскую, где режет липу, строгают сосну и березу, выпиливает, сверлит. Инструменты, все эти окружные пилы, рубанки, калевки, галтели, Будорагин сделал сам: во-первых, нигде не достать, а во-вторых, свое надежнее.

Плотничает, столярничает Василий Александрович в свободное время, хотя с деревом крепко связан и на работе – он бригадир модельщиков на Сынтульском чугунолитейном заводе, где его ценят и уважают как редкого мастера. Можно сказать, что целый завод начинается с его деревянных моделей.

...Как-то под вечер сели мы с Василием Александровичем на скамеечке у заросшего золотыми шарами палисадника. Заговорили о плотницком ремесле, о его будущем.

– Идет ремесло на убыль, – печалился Василий Александрович. – Ну сколько простоит мой дом? От силы лет семьдесят. Кто его потом подправит, если перевелись настоящие мастера, а молодежь и топор в руках не держала? Раньше как было: не умеешь дом сладить – какой ты мужик! Оно, конечно, не каждому быть столяром-плотником, но мастеров держать надо. Особенно в нашей лесной стороне. А мы не дома – коробки каменные лепим...

⁴ Я порылся в уголках памяти и вспомнил одну прочитанную не так давно статью в толстом журнале, где автор, сокрушаясь об уходе старых мастеров-плотников, писал, что в России с ее великой культурой деревянного

зодчества, огромными запасами леса строится всего 16–20 процентов деревянного жилья, а в Западной Европе, где давно на учете каждая осинка, из дерева возводится до 60 процентов домов. В Канаде и того больше – 85.

Будорагин об этих цифрах не слышал. Он прекрасно видел другое: считай, только вчера его дед вместе с тысячами плотников уходил из Мещеры рубить чудо-терема по городам и весям, а сегодня в Мещеру не докличешься и захудалого древодела. Не чудно ли: посылали отходников, а теперь зовут шабашников.

– Чудно-о,– тянет Будорагин и опускает голову.– Я вам стихи прочитаю. Есенина. Его мой Юрка любит.

И теперь, когда вот новым светом И моей коснулась жизнь судьбы, Все равно остался я поэтом Золотой бревенчатой избы.

Помолчали. Мимо по асфальтированной сельской улице катили машины, шли люди, невольно заглядывались на сиявший наличниками дом.

– Хоть бы зашел кто, поинтересовался, я бы сразу свои лекала дал,– вздохнул Будорагин, и мы отправились спать...

Мельник

Этот последний на рязанской земле ветряк стоит на бойком месте – асфальтовое шоссе от него в какой-нибудь сотне метров. Всякий, кто проезжает или проходит мимо, удивленно ахает: чудо!

Чуду сто пятьдесят лет, и оно уже не машет, как когда-то, деревянными крыльями. Электрический «ветер» шутя вращает тяжелые каменные жернова. Так и работает старая мельница на втором индустриальном дыхании, мелет для колхозной фермы фураж, а между делом производит в малых количествах особую ржаную муку. Охотников до нее в селе много. Духовитый получается из той муки квасок!

Раз есть мельница, значит, должен быть и мельник.

Он вышел к нам навстречу из белого мучного тумана и грохота жерновов. В разношенных кирзовых сапогах и кепочке, он смахивал на колхозного пастуха. Только лукавые глаза выдавали его с головой. Я почему-то до сих пор уверен, что все на свете мельники – мужики плутоватые. Литература тут, видно, виновата... Но вот что абсолютно точно: мельники – народ словоохотливый. Когда-то со всех окрестных деревень съезжались к ним гости. Зерно мелют, а сами – про житье-бытье. Все тут новости, все проблемы...

Пришли другие времена, когда хлеб наш насущный перестал зависеть от усердия ветряков. Не у мельницы – у магазина встречается посудачить народ. Так что теперь Константин Николаевич Бердянов рад каждому редкому гостю.

Мы присели в тенечке на охваченный тремя железными обручами жернов. Рядом колосилось поспевающее ржаное поле. Бердянов залез в узкий карман истертых галифе, вынул пригоршню зерна и бросил за угол деревянного сарая. Захлопали крыльями сизари. Мы услышали, как они довольно, по-кошачьи заурчали....

Прежде чем рассказать историю мельника, уместно будет вспомнить историю мельницы. Метаморфозы ее судьбы поучительны.

Сама идея мельничных крыльев, использования даровой силы ветра стара как мир. Ей 2300 лет. Но на Руси сначала появилась мельница водяная. Впервые о ней упоминается в XIII веке в ярлыке хана Менгу-Темира, освободившего церковные владения от всевозможных поборов-повинностей: «...или церковная земля, вода, огороды, мельницы, зимовища, летовища, да не

займут их».

Умение перегораживать реки, копать каналы и при случае «хитростью пустить воду» на врага – все это было хорошо известно Древней Руси. Такие гидротехнические познания наших предков дают возможность предположить, что водяная мельница пришла на Русь еще в XI веке. В веке XV водяные мельницы становятся обязательной принадлежностью княжеских, боярских и монастырских дворов. Симеон Суздалец во время пребывания в Любеке в 1438 году отметил наряду с библиотекой и водопроводом многие другие примечательности: «И увидедем ту мудрость недоуменну и несказанну... И ту видехом на реце устроено колесо, около (окружность.– В. Я.) его яко десять сажень, воду емлет из реки и пушает на все страны, и на том же валу колесо мало, ту же мелет и сукна тчет красныя...»

Где-то на рубеже XVII века в документах появились первые упоминания о ветряных мельницах, которые мало-помалу обогнали в числе водяные. В степных районах, продуваемых всеми ветрами, машущая крыльями мельница стала непременной частью деревенского пейзажа. Год от года требовалось все больше хлеба – неудержимо росло число ветряков. Если в 1794 году в Рязанской губернии их было всего три десятка, то через пятьдесят лет – тысяча с небольшим.

В начале нынешнего века 250 тысяч ветряных мельниц перемалывали в России половину всего зерна. Популярность ветряка неудивительна: за ветер платить не надо. Даже ребятишкам загадывали такую загадку: «Что это такое: весь мир кормит – сама не ест?»

Думать, что у ветряной или водяной мельниц не было другой заботы, кроме как молоть зерно, – заблуждение. Она успешно рушила просо, качала воду, пилила дрова, била шерсть, помогала добывать нефть и руду и делала много другой черной работы, оставляя человеку в основном одну обязанность – повнимательней поглядывать на небеса. Мельник Бердянов рассказал нам, как однажды он проглядел быстро приближавшуюся грозную тучу. Резкий порыв ветра легко подхватил незакрепленные крылья мельницы и унес под облака. На другой день пропажа обнаружилась в соседней деревне, в десяти километрах от Конобеева.

Потребность в мельницах породила целый промысел – добычу жернового камня. Количество мастеров-жерновников должно было быть значительным, чтобы удовлетворять все растущий спрос. Известны специальные карьеры, где выламывали мельничные камни. Рубеж двух половин Рязанского княжества в XV веке шел от устья Прони, «да Пронею вверху до Жорно-вищ». Для изготовления жерновов служили кварцевые камни и простые песчаники.

Научно-технический прогресс, казалось, навсегда вычеркнул ветряки из своего послужного списка. Тех, кто, как Бердянов, при ветряках остался, во всей России по пальцам пересчитать можно. Но так случилось не везде: в Дании, на уютном острове Борнхольм я собственными глазами видел мельницу, которой двести лет. Она по-прежнему делала свое дело, а хозяин-фермер не мог на нее нарадоваться. Держали ветряки и его соседи.

Итак, ветряная мельница стремительно уходила в этнографические музеи. Но за последнее время одно за другим посыпались сообщения: в Австралии поставлены сотни ветряков для получения даровой электроэнергии, в Швеции строят ветряной гигант высотой 80 метров с турбиной в 175 тонн. Появился и у нас, в Астрахани, небольшой завод с примечательным и обнадеживающим названием «Ветроэнерго». Видно, машущие на ветру крылья увидят и наши внуки.

...Теперь вернемся к мельнице у большака. В тени ее шатра мы беседовали с нашим новым знакомым. Константин Николаевич не был потомственным мельником, и в детстве не довелось ему наблюдать, как бежит по летку в деревянный ларь белая, как молоко, мука.

Бердянов был плотником. Лет тридцать назад строил коровники, плотины, ставил избы и не думал, что сведет его судьба с мельницей. Ее попросил подлатать председатель здешнего колхоза, возлагавший на мельницу в трудные для села годы большие и вполне оправданные надежды. Худая колхозная касса разве что и могла оплатить один ветер.

Дело для Бердянова предстояло незнакомое, и он, прежде* чем приступить к ремонту, долго присматривался к работе мельника. Ветряк отремонтировали, а старый мельник вскоре умер, не оставив преемника. Само собой вышло, что руководить мельничным хозяйством пришлось Константину Николаевичу. Он прижился возле муки и вечного грохота, но сыновей к такому «неперспективному делу» не подпускал. Они и уехали, оставив его один на один с мельницей и ветром.

К мельничному сараю, возле которого мы сидели, незаметно подъехал фуражир. Пегая с черной челкой лошадка была запряжена в бортовую тележку на резиновом ходу.

Бердянов поздоровался с фуражиром, и они ушли в сарай вытаскивать мешки с мукой специального помола, из которой на ферме делали болтушку для выпойки телят.

Мы тем временем решили осмотреть внутреннее устройство мельницы. Открыли скрипучую дверь, вошли и долго потом стояли неподвижно, пытаясь привыкнуть к разлитой в воздухе мучной пыли и полумраку. Свет от маленькой лампочки не мог пробиться дальше двух жерновов, сусека, наполовину заполненного мукой, электромотора и лесенки, ведущей куда-то вверх. На полке были разложены деревянные, с поржавевшими прутиками счеты, вырезанные из липы совки, мотки бечевки. Рядом – на дубовом мельничном валу – висела посаженная на кнопки истрепанная репродукция из «Огонька»: сквозь белесый мучной туман на нас смотрела Юдифь Джорджоне, попирающая голову Олоферна.

Я тут же вспомнил, как впервые попал в мастерскую деревянных дел мастера из меццерской деревни Норино Ивана Ивановича Пушкина. Мастерская располагалась в еще от деда оставшемся доме и была очень тесной. Может быть, оттого, что кругом стояло, лежало, висело невероятное количество разных вещей: остов какого-то радиоприемника, ружейный приклад, фарфоровые часы с нарисованной на них малиновой пастушкой, части лодочного мотора, деревянные заготовки, круглые, в серебряной оправе очки, стамески, напильники, взятое в рамку свидетельство участника Санкт-Петербургской кустарной выставки 1913 года. За изготовление самопрялки дед Ивана Ивановича, Кузьма Иванович, был награжден серебряной медалью.

В тот день за окном мела жестокая метель, Норино представлялось самой глухой на свете деревней. И тут я увидел висевшие на стене фотографии. Под одной из них, на которой неизвестный фотограф запечатлел томно раскинувшийся южный город, я с изумлением прочитал по-французски: «Монте-Карло»...

Правду сказал поэт: «Как тесен мир, как необычны переплетенья тайных сил».

...Мешки с мукой погрузили. Фуражир отправился на ферму, а Бердянов снова включил электромотор. Прерванная разговором и погрузкой работа продолжалась.

Иногда вспоминает Константин Николаевич о том, что кроме электромоторов есть еще и самородная сила ветра. Тогда, позвав кого-нибудь из фуражиров в помощники, разворачивает правилом мельничный шатер к ветру. Воздушные струи ударяют по лопастям, приходят в движение застывшие валы и шестерни – снова оживает пересохший мучной ручей.

По шаткой лесенке я забрался на самый верх мельницы – под шатер. Над головой летали дикие голуби, а в гнезде, устроенном под деревянной шестерней, лежали птичьи яйца. Видно, нечасто дает Бердянов разгуляться ветру.

Дерево – материал непрочный. Поизносились валы, подгнили доски. Пока живой и в силе, Константин Николаевич мог бы сделать мельнице очередной ремонт. И всего-то двадцать кубов леса надо. Только поди-ка их выпроси!

Какой же ветряк выдержит сейчас конкуренцию с заботами о фермах да тракторах! Мельница, так сказать, анахронизм. А ведь и этому заслуженному ветряку, исправно кормившему ржаным хлебушком не одну деревеньку, есть и должно быть свое место в нашей скорой на добрые перемены жизни. Хотя, конечно, какой такой с мельницы хлеб?!

Но разве хлебом единым? Строили мельницу русские мужики – люди умного и щедрого таланта. Это ему, сметливому крестьянину, памятник.

Скоро Бердянову на пенсию. Так есть у него мечта – сделать из своей мельницы колхозный музей и он чтобы при нем был. И чтобы приходили сюда колхозные ребятишки.

...Стоит у большака старая ветряная мельница. И кажется, что ждет она славного идалго Алонсо Кихано из Ламанчи. Но я знаю: теперь он стал бы сражаться не с ней, а за нее...

Гончар

Всему свету, наверное, известны скопинские гончары. Живет их промысел и поныне, и нет ему по самобытности равных в нашем крае. А ведь еще лет пятьдесят назад у скопинских мастеров были соперники равного масштаба и таланта. О них я случайно узнал, роясь в архиве музея. «Гончарное ремесло в Мещере издавна процветало в деревне Вырково Касимовского района». Эти строчки из пожелтевшей рукописи 1931 года заставили меня в один погожий день отправиться в путь.

В Вырково мы добирались на моторке. Пешком и далеко, и не так интересно. Лодка легко пошла вдоль вытянувшегося на север Сынтульского озера, открывая глазу то отравленный стадом лужок, то сосновую рощицу, то камышовые заросли. Волна уходила из-под днища и резво добежала до близкого глинистого берега, пугая рыбу мелочь. Эхо множило и без того сильный гул мотора.

За очередным поворотом мы увидели на зеленом пологом бугре деревеньку. Вернее, ее начало: десятка два домов, неровный, сделанный кое-как из березового и соснового колья мосток через озерную заводь.

Подожли вплотную к высокому берегу и причалили в том месте, где к воде спускалась широкая тропа. Поднялись по ней в деревню и постучали в первый с краю дом в надежде узнать адрес одного из гончаров. Дверь открыла женщина лет сорока с озабоченным лицом и красными от печного жара руками. Зашли в избу. Топилась русская печка, пахло блинами. Они

громко шипели на огромной черной сковороде. Готовые блины горкой поднимались в просторной глиняной тарелке. Рядом на столе мы увидели глиняный кувшин, до краев полный коричневым топленым молоком. Как сказала нам, не переставая заниматься блинами, хозяйка, когда-то и сковороды в Выркове были из глины. Делали их такие мастера, как Иван Петрович Есин.

Есины жили в другом конце деревни, и мы долго шли просторной улицей, дивясь ее заросшим бурьяном колдобинам, спускам и подъемам – в общем, явной неустроенности. Крепкие с виду дома стояли сами по себе, ломая порядок, огороженные тощими палисадниками. Ощущение было такое, что строили деревню люди, мало обращавшие внимание на внешнюю сторону своего быта, сосредоточенные на каком-то другом, более важном для них предмете. Вспомнились Княжи – тоже затерянная в лесах мастеровая деревенька, где жили потомственные колодезники. Избы там незатейливые, как колодезные срубы.

Вот уже двести лет, как живут в Выркове гончары. Было их не двое, не трое – вся деревня лепила горшки и квасники, делала кадилыники и свистульки. Еще в тридцатые годы нашего века – шутка сказать! – 350 мастеров кормились своим нелегким ремеслом! Упоминание о горшечном промысле в этих местах нашел я и у Семенова-Тян-Шанского в его известном труде «Россия».

Старого гончара мы отыскивали за огородами на лугу, где он ворошил сено, изредка поправляя сползавшую на глаза фетровую шляпу. Мы немного помогли ему, а потом попросили показать, что и как он делает на гончарном круге. Обогнув покосившуюся изгородь, зашли во двор, где сушились на траве полосатые домотканые дорожки, одиноко стояла собачья будка, росла в изобилии глухая крапива. Иван Петрович, пугая кур, стал шарить в сарайчике, искать свой гончарный инструмент. На свет божий были извлечены горшки разных размеров и предназначений, деревянные лопаточки и ножи, холщовые, запачканные глиной тряпки и конечно же гончарный круг.

Ему, по словам Есина, было 120 лет. Передавался он, как и завет беречь фамильное ремесло, по потомству – от отца к сыну. На основном деревянном кру

ге была прибита такая же круглая накладка, только поменьше размером. Стальная, тронутая ржавчиной ось входила в подставку прямоугольной формы. Дед налил во втулку гарного масла, и круг, приводимый в действие рукой, завертелся свободно, без скрипа.

Никто из ученых точно не знает, как выглядел первый гончарный круг. Известно лишь одно: он был деревянным. Вряд ли тот круг сильно отличался от того, что крутил сейчас своей слабеющей рукой Иван Петрович Есин, потомственный вырковский гончар. Уже больше тысячи лет вертит Русь горшки на гончарном круге.

...Оставалось только найти глину. Нужна была не простая – гончарная, которую исстари называли или «скуделью» (отсюда и гончара величали скудельником), или «зодом». Нетрудно понять изначальный смысл таких слов, как «здание», «зодчий». А само слово «глина» буквально значит – скользкая.

За глиной пришлось идти к брату Ивана Петровича – Григорию. Жил он неподалеку и имел у себя перед домом, там, где обычно устраивают крестьяне погреба, потайное место, в котором годами хранил «гончарный хлебец». Мы разбросали наложенные сверху доски, сняли слой дерна, и Григорий Петрович неглубоко копнул вилами, открыв бело-желтый слой.

Эту особую глину добывают километрах в двух от деревни в местечке,

называемом в народе Курицыно. Зимой, когда земля крепка морозом, роют длинную узкую канаву – дудку. Копают ее порой глубокой, до трех метров, чтобы найти тонкую, сантиметров в двадцать, глиняную жилку. В Курицыно отправлялись всей семьей: работа для одного слишком тяжелая и небезопасная. Случалось, заваливало дудочника. Дело такое – держи ухо востро. Зато уж если нападали на хороший пласт, был у гончара настоящий праздник. Глина для него то же, что для хлебороба доброе зерно...

Иван Петрович окропил принесенную глину водой из миски, раскатал ее между ладонями, а затем бросил с размаху на круг, раскрутил его и начал вытягивать из теста кувшин. Он рос быстро, как на дрожжах, поблескивая влажными боками. Стар мастер, а не забыли руки ремесло, к которому его приучали лет с восьми.

– А как мужику за двадцать стукнет, – неторопливо рассказывал Есин, – так до смерти и не выучишь, ведь при работе чутье рук иметь надо: волос попадет, а чтобы рука его чуяла. Надо ни в том, ни в другом боку горшок ни тоньше, ни толще сделать. Гладишь его, гладишь – умываешь, значит. А еще трудно тянуть. Тянешь горшок вверх – не дышишь...

В Выркове мастерами-гончарами становились исключительно мужчины. Женщин они держали на подхвате, доверяя самую простую, черновую работу. Невдомек им было, что именно женщине принадлежит честь изобретения гончарной посуды. На самых древних сосудах, сделанных еще до того, как появился гончарный круг, ученые нашли отпечатки пальцев. Они остались на мягкой глине, а огонь закрепил их на века. Это были отпечатки женских пальцев.

Правда, каждая мать в Выркове считала своей обязанностью налепить для своих детей глиняных игрушек. Мы видели, как брат Ивана Петровича, Григорий Петрович Есин, на глазах обступивших его ребятишек за считанные минуты творил разные свистульки в виде коньков, петушков, медведей. Такие игрушки раньше назывались «сопелками», «гудухами», «улютками». С ними не расставалась деревенская малышня, упоительно насвистывая с утра до вечера.

Делали свистульки попутно с основным производством. Больше для отдыха, развлечения. Налепив «улюток», гончар вез на базар и этот свистящий товар, но сбывал его за бесценок. Если за кувшин брал столько зерна, сколько в него входило, то свистульку отдавал за одно куриное яйцо.

Кто из мастеров обращал внимание на свистульки! А вышло так, что только вырковская игрушка – глиняные птицы, собаки, пахари, музыканты – сохранилась для потомков из всего обширного некогда промысла. Ее увидишь в музее. О ней прочитаешь в солидных искусствоведческих работах.

Я рассказал об этом старому гончару, а он только рукой махнул: нашли о чем говорить! Свистульки – они и есть свистульки. Баловство...

Когда кувшин был готов и поставлен в тень сушиться, Иван Петрович взял карандаш и нетвердой стариковской рукой начал рисовать вещи, которые испокон века делали вырковские мастера. Были здесь двухведерные кувшины для сусла, чашки для супа, глиняные сковороды, горшки разных калибров, кубышки с двумя маленькими ушками для сбора ягод.

Рядом старик нацарапал какую-то непонятную штуку, которая оказалась дойником и служила для вытапливания коровьего масла. Дальше пошли вовсе загадочные названия: кандюшка – для сливок и сметаны, кумган – для кваса, пикуш – маленький, пол-литровый кувшинчик, в котором для грудных детей

варили кашу. Производили грузила для сетей, пряслица. Даже скворечники делали в Выркове из глины. А один покойный мастер, Федор Иванович Николаев, сделал глиняный самовар, у которого не раз собирались гончары попить чайку.

Посуду, идущую на продажу, украшали белой глиной, наводили цветы – муравили. Наносили зубчатым колесиком – писанкой – геометрические узоры. Поливали керамику свинцовым суриком, получая дивного блеска глазурь.

Прямо перед домом каждый гончар устраивал себе горнушку – нехитрую печь для обжига, в которую входило от 70 до 300 штук разной посуды. Предварительно ее сушили в русской печке, которая и здесь, как видим, здорово выручала. Для большей прочности вынутые из печи горшки обваривали в старину в растворе муки, а то и в кислых щах.

Товар свой продавали вырковцы широко. Тем и кормились. На рынках, Касимова, Рязани и даже Москвы вырковская посуда на равных спорила со скопинской, превосходя ее подчас аккуратностью исполнения. Брала ее всегда охотно, хотя платили негусто: глиняная посуда не железная, быстро превращается, по выражению Пушкина, в «праздные черепки».

Есть и сейчас спрос на древнее ремесло. Только редко-редко разводят старые гончары огонь в своих горнушках, потому что кустарь в наше время и есть кустарь. Образовалась бы здесь фабрика, как в Скопине, тогда другое дело, может, и Вырково гремело бы сейчас на весь мир. Кто знает...

А так пройдет лет десять, и только в музее сможем разыскать мы следы самобытного некогда промысла.

...Наша лодка отчалила от берега как раз в том месте, где этим летом неожиданно открылся у края озера редкой чистоты ключ. Ходит к нему по воду сейчас вся деревня. Старики рассказывают, что нечасто открывает себя тот родник. Может статься, на следующий год накроет его озеро, замутит. Тогда поди отыщи!

Колодезник

В Княжах, в мещерской глухомани, один телефон на всю деревню, поэтому узнать местные новости можно, пожалуй, одним способом – прийти к старому колодцу, что у небольшого, заросшего камышом пруда. Вода в колодце отменная, а рядом – вроде завалинки из вековых, отполированных завсегда таями сосновых кражей.

Напротив колодца стоит дом Николая Ивановича Юдакова, совхозного пастуха. В свой законный выходной он любит, разложив на траве плотницкий инструмент, повозиться с деревом. Собирается завитками легкая стружка, тепло мерцают ровные срезы, постукивает топор – не работа, а удовольствие.

Проведать соседа частенько заходит Иван Павлович Замилов – единственный в Княжах грибовар, уже четверть века поставляющий местной кооперации необыкновенно вкусной засолки хрустящие грузди, редкие теперь рыжики, нежные, как курятина, белые грибы. Соседи устраиваются на сосновых бревнах, закуривают. Скоро откроется в здешних лесах грибной сезон, поэтому Юдаков непременно интересуется:

- Ну как, Иван Павлович, опять варить будешь?
- А ну их к лешему, надоело, – охотно отвечает Замилов.

Каждое лето он зарекается разводить огонь в грибоварне. Но как только накатывает щедрая осень, начинает тянуть из лесу грибным духом – снова вьется над замиловским огородом дымок...

- Вот и я решил больше колодцев не рыть, – понимающе вздыхает Юдаков

и затягивается папироской.– Наделал их на своем веку, хватит...

На широкую деревенскую улицу приходит вечер. Вытягиваются тени от домов. Возвращается с дальних выпасов стадо. Вечером Княжи выглядят куда более привлекательными, чем днем. По преданию, прежних жителей деревни проиграл в карты кутила-барин, и они были вынуждены переселиться в здешние глухие места. Деревню строили без настроения.

В Княжах жили и живут люди опасной и редкой профессии – колодезники. По первому снегу во все концы Мещерского края отправлялось пятнадцать, а то и двадцать артелей мастеров, по четыре человека в каждой. Рыли колодцы, ладили срубы, ставили воро

ты и одноногие журавли. Умели отыскивать воду, хотя что в здешних местах вода! Не пустыня – в избытке. Главное, владели колодезники секретом рытья глубоких, необваливающихся шахт под колодцы, устройства добротных срубов, от которых десятилетиями не портилась, не задохалась вода.

Крепко засело это ремесло в Княжах. Вот почему даже избы в деревне своей незатейливостью похожи на колодезные срубы. И только дом грибовара Зами-лова отличается веселой деревянной вязью наличников, на которых видна и токарная работа. Давний друг Ивана Павловича Иван Иванович Пушкин из соседней плотницкой деревни Норино выточил на своем станке накладные детали – круглые, как крепкие ножки грибов-подосиновиков.

Не перевелись колодезники в наши дни, потому что колодцы поят водой отменного качества еще не одну деревеньку в России. Николай Иванович Юдаков – один из тех, кто знает секреты редкого ремесла. Зимой, когда отпадает в совхозе нужда в пастухах, вместе с испытанными товарищами отправляется он выполнять многочисленные заявки, которых за лето приходит по почте много.

Вроде и старается Юдаков для людской пользы, и разрешение директора получает, а выходит ему это иногда боком: нет-нет да укорят «левым» заработком, хотя к своей основной работе Николай Иванович относится с доброй совестью.

У колодезников есть неписаное разделение на «верх-ников» и «нижников». Первые – это те, кто рубил срубы, подавал, пособлял, не опускаясь в шахту. Дело держалось на «нижниках» – людях опытных, смелых, не боящихся тяжелой работы. Так вот Николай Иванович Юдаков всегда ходил в «нижниках».

В Княжах, как и в любой деревне, есть доживающие свой век старики. К колодцу, на «юдаковские посиделки», они приходят послушать деревенские новости, поговорить о жизни, а то и за помощью.

Как-то у бабки Алены на крыльце подгнили ступени. Неделю обивала чужие пороги, но всем было некогда: покос, а там и уборочная на носу. Какие уж тут крылечки... Пошла к колодцу. Юдаков себя упрасивать не заставил, принес пилу и топор, подобрал подходящие доски. И всего-то дел оказалось на час:

– Сиди, бабуля, на крылечке, наблюдай деревенскую жизнь! – С тем и ушел, отказавшись от загодя приобретенной поллитровки.

По дороге домой Николай Иванович зашел к своему помощнику в колодезных делах Виктору Грибкову. Сели в прохладной избе за стол, нарезали свежих, только что с огорода, огурцов. Поставили блюдце с медом, чтоб окунать туда ядреные дольки. Вкусно: что твои ананасы! Стали вспоминать минувшее, например позапрошлую зиму. Когда неглубокий четырехметровый колодец был уже почти вырыт, вдруг что-то дрогнуло в

сырой полутьме и Грибков крикнул: «Земля поехала!» Юдакова тогда завалило мерзлой землей, и всей артелью его едва успели откопать.

Колодцы на Руси копали всегда зимой, когда вода уходит глубоко под землю и не мешает добраться до основной водяной жилы, а скованная морозом земля не оползает. В суровые военные зимы, совсем еще мальчишкой, получил Юдаков первые уроки колодезного ремесла в своей родной деревне Малахово. Сначала только приглядывался, а после войны, приехав в Княжи, пристрастился к ремеслу по-серьезному...

Удобное место для устройства колодца мастерам выбирать не приходилось: хозяин хотел его иметь рядом с домом, под руками. Так что основное искусство колодезников заключалось в умении вырыть шахту нужной глубины. Выручало чувство грунта. Юдаков, например, знает: когда идет глина, скоро воды не жди, а как откроется песок или камни, появляется долгожданная влага. Опытный колодезник помнит, что самый коварный грунт – смешанный с песком, черный, как деготь, ил. Будешь копать и три метра, и десять. В любое время от одного удара киркой может ударить мощный фонтан, иногда высотой десять – двенадцать метров. Тут лишь успевай поворачиваться, иначе затопит в считанные минуты. Хотя такая вода и легко подчас достается, как говорят колодезники, «не мучительная», ей не рады. Тяжелая, невкусная. И напротив – колодец, с трудом пробитый в камнях, отличается мягкой и приятной на вкус водой.

Бывает, в специальной бадье колодезника опускают с помощью ворота на достойную уважения глубину: в двадцать, тридцать метров. Вот откуда небо с овчинку кажется! В невероятной тесноте, при свете фонаря, подвергаясь ежеминутной опасности быть за сыпанным, мастер расчетливо делает свое смелое дело. Но дано такое не каждому.

Однажды в дом к Юдакову прибыла целая делегация из дальней деревни Гвоздево. Всем миром просили мастера отремонтировать колодец, воду из которого брало полдеревни. Просили уважительно, зная, что для колодезника ремонт невыгоден: хлопот много, а денег платят меньше, чем за новый. Мастер дал согласие и через неделю собрал нехитрый инструмент – пилу, топор, крепкий канат – и отправился в путь. Думал про себя так: управлюсь скоро, дело обычное. Но подошел к колодцу и ахнул: так глубокий, что дна не видно. Опустил веревку, измерил. Оказалось, что колодец уходил в глубину ни много ни мало на пятьдесят пять метров! Никогда до этого не приходилось Юдакову иметь дело с такими колодцами. Взял топор, сел в бадью и стал спускаться вниз. Добрался до воды, посмотрел вверх, и сердце сжалось. Двадцать пять метров камня и тридцать – деревянной «рубашки». Глубина, как и высота, бьет по нервам. Но говорят так: глаза боятся, руки делают, не оставлять же людей без воды. За неделю выправил Юдаков колодец. Вздохнула деревня с облегчением: снова жил колодец!..

– Вырыть шахту – это еще не все, – рассказывал нам Николай Иванович, – надо грамотно дерево для сруба подобрать. В воде оно будет служить долго, хоть сто лет. А вот наверху продержится не больше пятнадцати. Лучший сруб – из березы. Хорош и дуб, крепок. Только замечено: из-за дубового сруба два года вода в колодце будет черной и горькой, но потом посветлеет. От соснового сруба в воде появляются золотые блески, и пахнет она смолой. Такую полезно пить слабым легкими.

В среднем семь – десять дней уходит на полное устройство колодца. Это время наполнено тяжелым, изнурительным трудом. Зато когда из-под земли

выйдет долгожданная вода, заполнит колодец до необходимого уровня (а это заранее оговаривают с заказчиком), осядет на дно взбаламученный песок и первое ведро принебет из прохладной глубины прозрачную влагу – наступает настоящий праздник и для мастеров, и для хозяев. Не стоит дело за угощением, поются песни. Недаром говорят: «Колодец, как ребенок, родится в радости».

Но звезда мастеров-колодезников переменчива. Бывает, что ни на пятые, ни на десятые сутки не открывают они воды. И уходят, засыпая шахту, чтобы начать в другом месте. Так, во всяком случае, поступают всегда Юдаков и его артельщики. Хотя, как говорится, есть и другие прецеденты...

Всем известна пословица: «В лес дров не возят, в колодец воды не льют». Так вот одна нечистая на руку артель сделала наоборот. Вырыли шахту, а воды все не было. Тут бы отступить, поискать в другом месте. Только артельщики решили обмануть хозяина. Ночью натаскали в шахту из ближнего пруда воды, прикрыли дно. Просыпается утром хозяин и видит: ожил колодец. На радостях выложил деньги за работу, да еще сверх того. Только артельщиков и видели...

– Вот такие мошенники на наше святое дело тень бросают, – говорит Николай Иванович. – Но одно знаю: нечистыми руками доброго колодца не сделать.

Все труднее в наше время крестьянину обзавестись колодцем. Колодезников осталось – раз-два и обчелся. Да и цены подскочили. Раньше с метра брали по двадцать пять рублей, а сейчас и пятьюдесятью не отделаешься. Хорошо еще вода близко, а если потребуются глубокий колодец – в трубу вылетишь, серебряная получится водичка. И все равно идут и идут на поклон к мастеру-колодезнику.

– А куда им, бедным, деваться, – резонно рассуждает Николай Иванович Юдаков. – Колхоз или совхоз колодцы устраивают редко, службе быта до этого нет дела. Предположим, поставили в селе колонки. Только и тогда колодцы закапывать рано. Ненадежная она штука, колонка. Работает только до двадцати градусов мороза. А как поползло ниже – замерзает. Тут и выручает колодец. Если посмотреть в больших селах, – Ижевском, Ибердусе, – там и колонки стоят, и колодцы новят, вторую им жизнь дают. Так что по всему видно: нет у нас, колодезников, конкурентов. Приглашают нас, письма зазывные пишут. Только проклятая это работа. Сколько раз зарок давал бросить. И брошу...

На «юдаковских посиделках» перебивало, считай, все село. Идут мимо – сядут, покурят, о жизни посудачат. Место прохладное. Рядом пруд. Зашел недавно на огонек один заезжий. Разговорились. Дельный, умелый оказался мужик. Все может: и слесарить, и токарные работы выполнять, и по дереву мастер. Только выясни

лось, что сидит он на окладе, поэтому свои умения прилюдно не объявляет. Такую он теорию развил: дескать, в наше богатое стрессами время лучше себя побережь и не растрачивай силы, а если некуда энергию девать, так можно, как он, гимнастикой йогов заняться у открытой форточки, от инфарката бегом спасаться... Слушал его Юдаков долго, а потом не выдержал:

– Видел в соседнем селе колодец? Какая в нем вода была: пьешь – не напьешься. А в прошлом году его хозяева Чирковы уехали. Кончился колодец, умер. Знаешь почему? Воду людям отдавать перестал...

Тем же вечером Юдаков достал из комода месяц уже лежавшее без ответа письмо из Ерахтура. Перечитал и на чистом тетрадном листе аккуратно

написал ответ, заключив его твердым обещанием: «Зимой обязательно буду. Готовьте инструмент»...

Бондарь

Написал заголовок и задумался. А все ли знают, кто это такой, бондарь, не стало ли слово безнадежным архаизмом? От людей старшего поколения сразу слышу возражение: как же, мол, очень хорошо знаем. Но вот недавно открыл энциклопедический словарь последнего издания и, к своему удивлению, слова этого не нашел. Правда, из микроскопически короткой справки узнал, что бондарные изделия изготавливают «из дерева... и полимерных материалов». Да что там бондарь! Не узнать из словаря, что же такое бочка. Нет, слово это упоминается трижды, то как древняя мера объема, то как элемент архитектуры, то как фигура высшего пилотажа. Не нашлось места только для самого простого, изначального толкования, словно оно и не нужно. А напрасно: жива бочка – дубовая и липовая, на пять ведер и на пять тонн. До сих пор требуется она (притом в огромных количествах) и заготовителю, и виноделу, и рыбаку, и нам с вами, охочим до хрустящих соленых огурчиков да пахнущих лесом груздей.

И все-таки кто же такой бондарь? Человек, делающий бочки, по-старославянски – «бодни». Со временем две буквы поменялись местами и прибавился суффикс «арь». И вышло – бондарь. Аналогичных слов – пекарь, токарь, лекарь, вратарь – великое множество.

Но это – бондарь – особое. «Бондарь»... Произнесите его вслух. Сколько в нем древней музыки, тихого колокольного звона...

...Есть в маленьком мещерском поселке Елатьма улица Среднереченская. Ее найдешь не сразу, потому что прячется она под крутым речным обрывом, таким высоким, что с него видно окрест не меньше чем километров на сорок. Встанешь на самом краю, посмотришь на бескрайние леса, которые тянутся отсюда, почти не прерываясь, до Белого моря, на излучину Оки, занесенную снегом, и вряд ли догадаешься, что нужная тебе Среднереченская прямо под тобой.

Дома на улице, как ласточкины гнезда, лепятся к обрыву скошенными в сторону реки фундаментами. Сады и огороды террасами спускаются к самой воде. Весной в богатое половодье между грушами и яблонями вполне можно поплавать на лодке.

Дом Александра Андреевича Фроликова, как нам сказали, стоит у ручья. Мы долго искали этот мертвый, как нам казалось, зимой ручей, но не находили. И только с третьего или четвертого захода сообразили, что ручьем, по-видимому, называли здесь маленький родник, живой даже в лютые морозы. Он рождался где-то в недрах обрыва и выбегал наружу по заржавевшей короткой трубе, нависавшей над длинным деревянным корытцем, взятым, видно, с фермы. К роднику ходили по воду, как к колодцу... Здесь, на этом бойком во все времена года месте, и жил потомственный бондарь Фроликов.

С ним мы познакомились летом, когда я случайно забрел в крохотную бондарную мастерскую Елатомско-го лесохимучастка. Под двумя одинокими соснами Фроликов и его, как он их сам называл, «компаньоны» поправляли на готовых к отправке бочках металлические обручи. В теничке лежала в штабелях сохнувшая клепка. Пахло живицей, под которую, собственно, бочки и предназначались. Александр Андреевич показал свое рабочее место, где, по его словам, «истер не одни полы». На верстаке был разложен почти весь бондарный инструмент: наструги, шмыга, деревянный циркуль, лучковая пила,

набойка и молоток. Инструмент знатный, что называется, по руке. Это было видно по тому, как привычно брал его Фроликов, как уверенно с ним обращался. В цветастой рубашке, матерчатой кепочке с пластмассовым козырьком, Фроликов выгля

дел совсем молодым (ему, кстати, нет и пятидесяти). И как-то вроде не шло к нему, ре подходило это – мастер-бондарь...

И вот мы снова встретились. Он провел нас на просторную терраску и усадил за стол, заставленный отварной картошкой-рассыпухой, солеными грибами, квашеной капустой и чашками с налитым в них рубинового цвета калиновым сиропом. Калина росла в саду. В прошлом году ее урожай, как сказали хозяева, был необыкновенным.

Терраса стояла высоко над землей. Из нее хорошо просматривались застывший сад, лежащая у дальней калитки перевернутая лодка, пустой скворечник на длинной жердине. А еще дальше, за огородом, начиналась Ока...

Дед Александра Андреевича был родом не отсюда. В нескольких километрах от Елатьмы стоит село Большой Кусмор. Там и рождались потомственные бондари, которым по хватке, по мастерству не находилось в округе равных. Дед Александра Андреевича, даже когда его выбрали первым председателем кусморского колхоза, бондарного дела не бросил, обучил ему сыновей и внуков. Непримирым был старик, когда речь шла о потомственном ремесле. Однажды увидел у внука балалайку и аккордеон (Александр Андреевич и по сей день музыкой на досуге балуется) и велел тут же выбросить за порог, потому как посчитал – от дела отвлекают.

Мастерить бочки учили лет с тринадцати. Работу давали по силам, зато спрашивали строго. До поры до времени считались и с неумением, и с робостью, а вот небрежения не терпели.

На всю жизнь запомнил Александр Андреевич ту дедовскую науку...

Как же делали и делают бочки сейчас? Фроликов долго и обстоятельно рассказывал нам о своем ремесле. И вот что я из всего этого запомнил. Во-первых, надо с умом выбрать дерево. Чтобы бочка получилась отменной, следует учесть диаметр ствола, направление волокон, поэтому дерево находят прямослойное, невитое. Распиленную древесину колют на секторы (гнатины), а потом уже за дело принимается пила, из-под которой выходят плоские прямоугольные дощечки длиной от метра и более – клепка. Ее сушат, а потом с помощью наструга – инструмента, похожего на скобу, – придают выпукло-вогнутую форму, обстругивая с двух сторон, делая, как говорят мастера, строжку. Тщательно обрабатывают кромки – следует получить бруски, симметрично и равномерно сужающиеся от середины к концам.

Наступает самый ответственный момент. Клепку собирают на специальном стенде, закрепив сборным обручем один из торцов будущей бочки. Противоположные концы при этом расходятся веером. «Сложить» его непросто. Дерево хорошенько пропаривают. Пока клепка податлива, ее закрепляют головным рабочим кольцом. Затем прорезается утор – паз для дна. Когда донья вставлены, обручи уже постоянные, крепко охватывают бочку. Теперь чем сильнее будет распирает содержимое бочку, тем крепче сдавят ее обручи.

Отработанная веками, эта технология веками и сохранялась, дожив практически без изменений до наших дней. На производстве (представьте себе, есть у нас и настоящие бондарные цехи!) многие операции выполняют теперь полуавтоматы. В одном таком цехе, в поселке Гусь-Железный, где

делают бочки тысячами, работал в свое время и Фроликов. Только не понравилось ему там: труд однообразный. Один клепку обрабатывает, другой уторные пазы прорезает, третий надевает обручи... Не видно при такой работе мастера. Выйдешь на двор – сотни бочек в штабелях сохнут. Какая твоя?

Я знал другого бондаря – Илью Петровича Смирнова из мешчерской деревни Филино. Стоило тому привезти свои бочки и кадки на клепиковский базар – покупатели выстраивались в очередь. И все потому, что мастер он был отменный – его бочки не пропускали рассола, не портили вкуса снеди и не рассыхались.

Фроликов любит работу разнокалиберную – от пирожницы, объемом в каких-нибудь полведра, до чана водонапорной башни высотой шесть метров, какой они делали с отцом для Елатомского молокозавода. Местные бондари брали заказы на десятиведерные кардельки под сало, тридцатипудовые ужемки под рыбу, бочку- лагун, в которой можно было хранить сорок пудов зерна. Пахталки, квашонки, кадки, ушаты – сколько их переделал за свою жизнь Фроликов! А заказов меньше не становится. В эмалированном тазу огурцы не засолишь, вот и идут люди за бочкой.

Как-то приходила старая учительница, просила сделать кадку под огурцы. Фроликовские «компаньоны»

ей: давай, дескать, попроще сделаем, из сосны, а чтобы смолой не пахло, вставим полиэтиленовый мешок. Александр Андреевич услышал разговор и давай стыдить халтурщиков. Не будет в огурцах, засоленных в такой бочке, ни доброго вкуса, ни божественного хруста. Сам взялся и сделал учительнице кадку, до конца жизни теперь хватит...

К бондарному ремеслу прибиваются люди разные: есть и мастера, что называется, от бога, и горемыки, которым больше некуда податься. Бывает, приходят любопытствующие.

Несколько лет назад в ученики к бондарной артели прикрепили двадцатилетнего Сашу Голубева. Он окончил строительное ПТУ и попросился в лесохимучасток к бондарям. Парень, по словам Фроликова, оказался светлый. Был трудолюбив и любознателен. Но в конторе отнеслись к нему как-то недоверчиво. Это недоверие и заставило Сашку уйти из мастерской. Стал он шофером, возил на автобусе елатомских в Касимов. В один из рейсов случилась беда: машина внезапно загорелась. Из пылающего автобуса Саша вывел всех пассажиров до единого. Но сам себя не уберег.

Его похоронили недалеко от бондарной мастерской, на старом кладбище...

Когда мы познакомились с Фроликовым, он не раз ронял в разговоре: «Бывало, рос в ремесле, теперь топчусь на месте, а спрос на жизнь у меня, друг, высокий». Лишь много позже я понял, что так он хотел обозначить некую точку в своей судьбе, когда руки надолго обгоняют голову, а душа требует новой пищи.

Он занялся шахматами, но остановился где-то на полдороге: этюды и эндшпили мало что прибавляли к его представлениям о мире. Тем более что в период увлечения шахматной игрой Фроликов от одного сельского учителя узнал о споре, разгоревшемся в начале века между двумя почтенными академиками – Чаплыгиным и Вернадским... Первый считал, что математика – главное явление нашего времени, второй отстаивал первенство науки о живой природе. Фроликов решил, что Вернадский гораздо ближе к истине. Так было покончено с шахматами.

Александр Андреевич начал писать стихи. Рифмы удавались не всегда, но смысл, идея были правильными.

Нету счастья просто
Без труда-заботы.
И тебе совет мой –

Начинай с работы...– писал Фроликов в стенную газету лесохимучастка.

Скоро Александр Андреевич понял, что и поэзия тоже мало продвинула его в понимании бытия.

Однажды в елатомской библиотеке, куда он частенько заходил, попалась ему в руки небольшая книжца из серии «Жизнь замечательных людей». На одной из открытых наугад страниц он прочитал: «Человек, пока он составляет часть природы, должен следовать ее законам. Пока он делает это, он счастлив». Книга называлась «Спиноза».

Вечерами, отдыхая от бондарных дел, Фроликов читал о голландском философе, который многие годы добывал средства к существованию шлифованием стекол, а ночью писал свой знаменитый трактат «Этика»... Книга о Спинозе стала у Фроликова любимой. Книгу из библиотеки Фроликов брал и перечитывал не единожды. Вот и сейчас, уверен, сидит он в своем деревянном доме, у небольшого окошка, на котором висят на нитке рубиновые кисти калины, и вновь читает о деяниях удивительного голландца Бенедикта Спинозы.

Как он там, в трактате, писал? «Все прекрасное так же трудно, как и редко...»

СОДЕРЖАНИЕ

Мещерский странник	3
Путешествие первое	9
Легенда	10
Чудь	16
В старом монастыре	26
Гусь-Железный	31
«Кукушка»	36
Путешествие второе	47
Зима – лето	51
Костер на «горе»	59
Маэстро	68
Праздник	72
Банька	76
Путешествие третье	81
На кордоне	84
Лес насущный	89
Письма из леса	92
Путешествие четвертое	101
Родник	103
Остров	104
Голубая межа	108
Болотный генерал	119
Равновесие по Матвею	126
Путешествие пятое	138
Журавль в небе	140
Путешествие шестое	150
Воздушные шары	150
Что видно с высоты	155

Путешествие седьмое 160

Плотник 163

Мельник 171

Гончар 176

Колодезник 181

Бондарь 186

